

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРАВДА, МОСКВА

№ 41 ОКТЯБРЬ 1987



ЛИМИТЧИЦЫ

ПРОЗА
АНДРЕЯ
БИТОВА

ТАЙНЫ
ДРЕВНИХ
КУРГАНОВ



ПОЛЕЗНА ЛИ КРАСОТА?



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЕК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан
1 апреля
1923 года

№ 41 (3142)

10—17 ОКТЯБРЯ

© Издательство «Правда», «Огонек», 1987.

Главный редактор — В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,
Д. В. БИРЮКОВ,
Л. Н. ГУЩИН
(первый заместитель
главного редактора),
К. А. ЕЛЮТИН,
В. П. ЕНИШЕРЛОВ,
Н. А. ЗЛОБИН,
Д. К. ИВАНОВ
(ответственный
секретарь),
Ю. В. МИХАЛЬЦЕВ,
В. Д. НИКОЛАЕВ
(заместитель
главного редактора),
Ю. В. НИКУЛИН,
А. Г. ПАНЧЕНКО,
А. Б. СТУКОВ,
С. Н. ФЕДОРОВ,
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Художник Зураб Церетели.
(См. статью «Дизайн — высокое искусство».)

Фото Альберта ЛИБЕРМАНА

Оформление А. А. КОВАЛЕВА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИС-
НОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на
полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб.
19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27;
отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммуни-
стического воспитания — 251-89-83; Междуна-
родный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69;
Искусства — 212-15-39; Писем и массовой ра-
боты — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформле-
ния — 212-15-77; Литературных приложений —
212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских ли-
стов не рассматриваются.

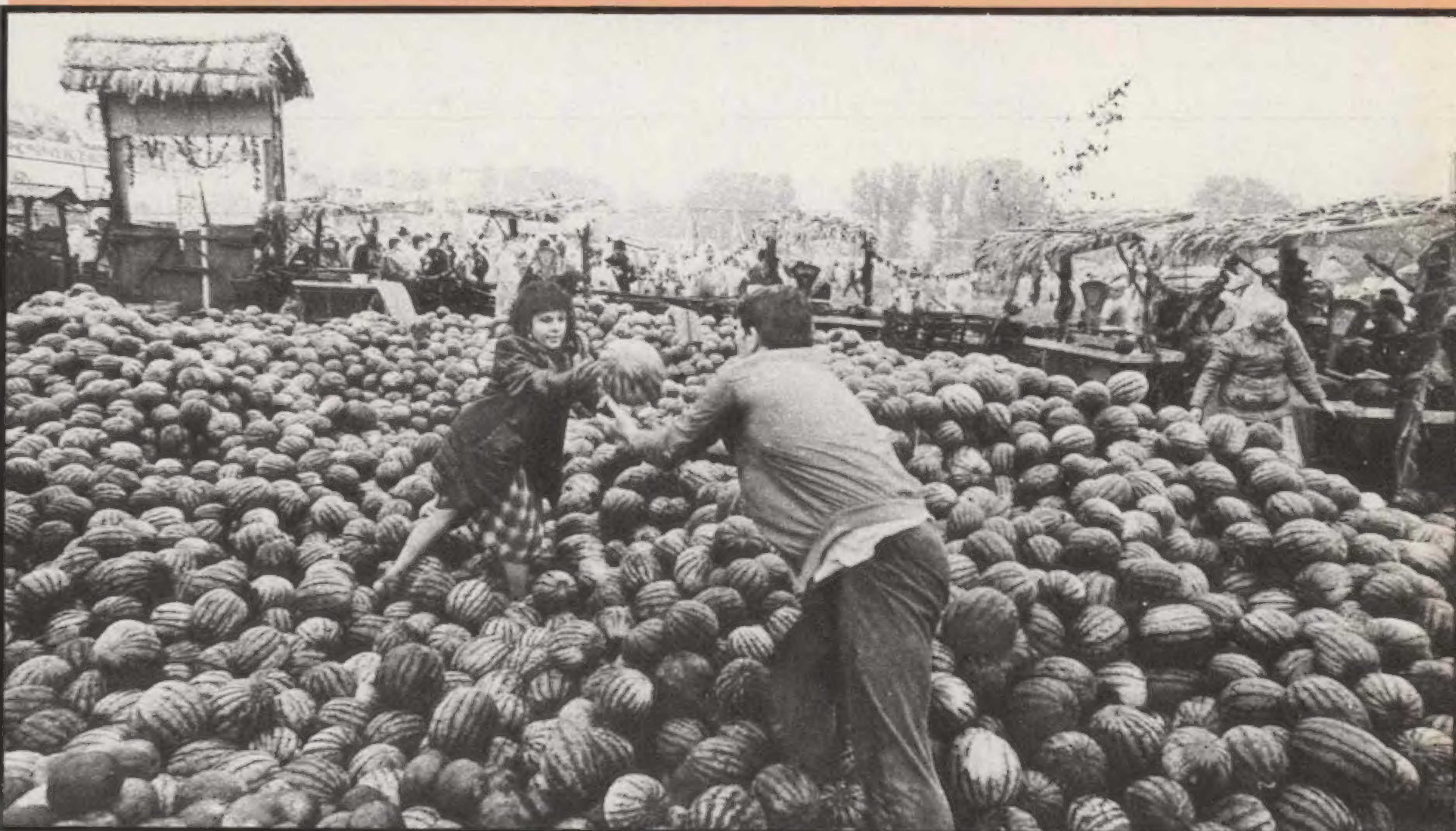
Сдано в набор 18.09.87. Подписано к печати
05.10.87. А 00437. Формат 70×108¹/₁₆. Глубокая
печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55.
Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд.
№ 2692. Заказ № 1230.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Револю-
ции типография имени В. И. Ленина издатель-
ства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва.
А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

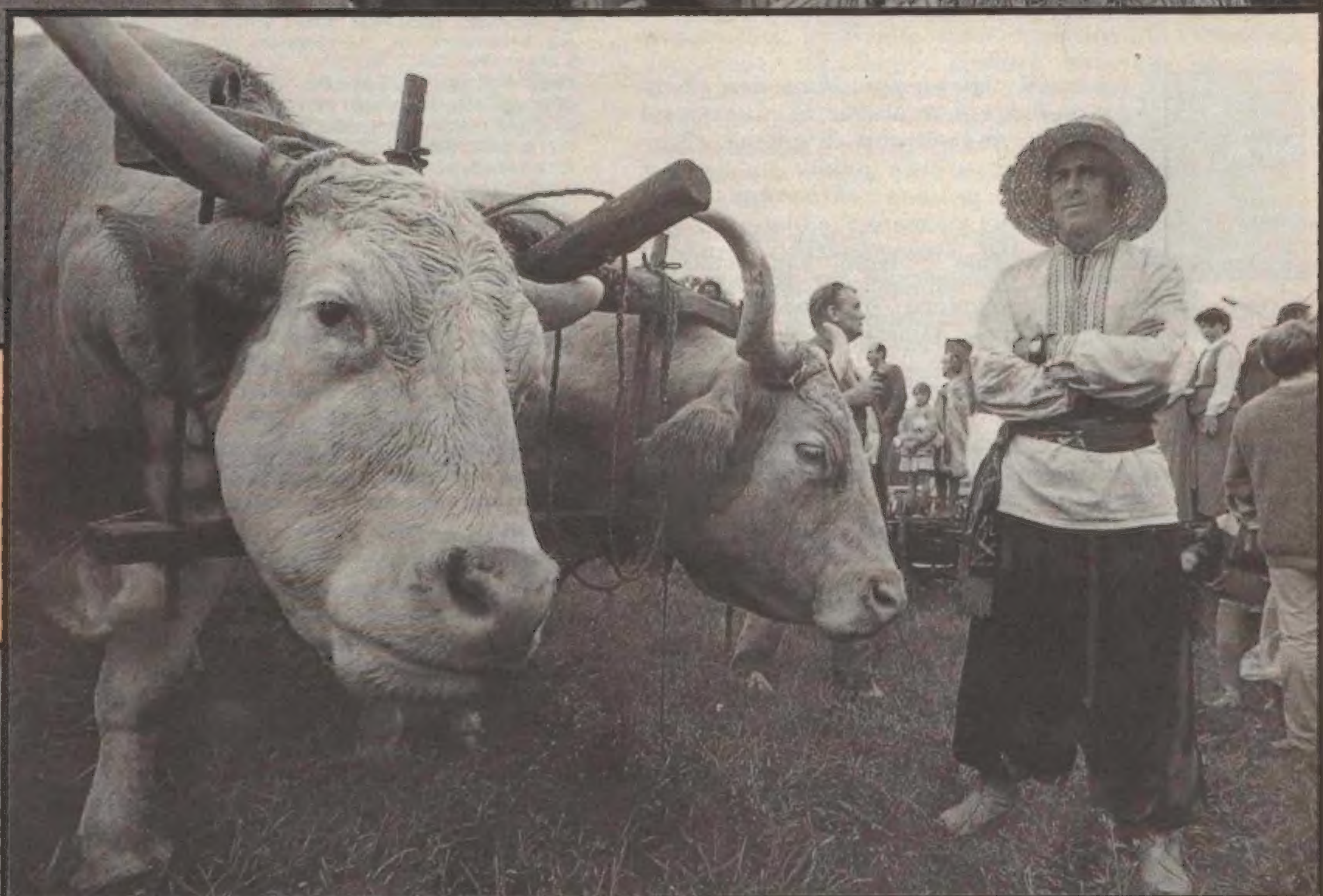


СЛАВНЫЙ МЕСЯЦ





УРОЖАЯ



Почти два десятилетия назад земляки Н. В. Го-голя возродили этот праздник. Съезжаются сюда гости не только со всей Полтавщины и соседних областей. Едут семьями. На личных автомобилях, на автобусах и, как в старину, на бричках.

Два воскресных дня длится ярмарка в Сорочин-цах. Все, как и должно быть на ярмарке: люди не только покупают, продают, но и веселятся от души. Нужно сказать, что культурная программа все эти годы готовится на славу, отсюда и всео-бщая известность, и популярность ярмарки.

Кстати, здесь не происходит никаких событий, способных отравить атмосферу праздника, а ведь бок о бок двое суток живут 150 тысяч приезжих со всей страны...

Публикуя этот фоторепортаж, мы надеемся, что он подтолкнет людей инициативных, с фанта-зией устроить и у себя на селе, в районе празд-ник благодарности земле за урожай.

Юрий ПЕТРОВ,
Павел ПАВЛОВ [фото]

Сейчас мы особо рассчитываем на инициативу и активность, принципиальность трудящихся. Мы так ставим вопрос, и из этого должны исходить и хозяйственные органы, и наши руководящие кадры, партийные организации, — **ТРУДЯЩИМСЯ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО.** Это их страна, это их строй, это их общество. Они хозяева. Партийные организации, кадры — на службе у народа, и партия вся — на службе у народа. А не наоборот. Члены трудовых коллективов должны чувствовать себя и действовать на производстве, как настоящие хозяева. Всякие попытки — от кого бы они ни исходили — воспрепятствовать реализации этого права, проявлению инициативы трудящихся должны решительно пресекаться.

Из речи М. С. Горбачева на торжественном собрании при вручении городу Мурманску ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время встречи
Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева
с жителями Мурманска.

Фото ТАСС



Иван ЖУКОВ

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

ИСПОЛНИЛОСЬ 45 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПОДПОЛЬНОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Известный драматург Всеволод Вишневский в конце войны был назначен главным редактором журнала «Знамя». Он-то и стал одним из первых читателей романа «Молодая гвардия». Когда редакция «Знамени» получила 140 машинописных страниц романа, Вишневский тут же их прочитал. Кратко, для делового разговора с редакционным коллективом записал свои впечатления. Вот они:

«Вещь, чувствуется, масштабная, экспозиция неторопливая, широкая... Степь, знойное и мучительное лето 1942 г. даны прочно, верно... Смело и четко обрисовывается образ Олега Кошевого. И хорошо, чисто дан образ Ули... Прямо и горько даны все эпизоды с эвакуацией, отступлением. Постепенное нагнетание, нарастание тревоги и беды сделано умело и сильно... Удивительно написано патетическое обращение к матери, чистое, волнующее до слез, трепетное.

Верны и тонки сцены с проходящими автоматчиками, Каюткиным, хромающим майором...»

И далее: «...он (Фадеев) подчеркнул генетическое единство духа поколений».

«Вся глава — поход по степи, диалоги, переправа, бомбежка и обстрел — написана превосходно.

Лучше стал писать Фадеев. Лучше».

Успех этого романа в нашей стране почти не знает precedентов. Его читали в землянках, в нетопленных классах, в разрушенных дотла городах и селах.

Судьба его драматична. Удостоенный Сталинской премии первой степени, роман вскоре стал объектом сокрушительной критики. Осенью сорок седьмого года И. В. Сталин, посмотрев фильм Сергея Герасимова, снятый по роману «Молодая гвардия», вновь возвращается к книге Фадеева и обнаруживает «не только в фильме, но и в книге ряд несовершенств», как скажет Константин Симонов. В газетах «Культура и жизнь» (30 ноября), «Правда» (3 декабря) появляются редакционные статьи, в которых утверждалось, что из романа «выпало самое главное» — роль коммунистов в организации антифашистского подполья.

Статьи стоили писателю мучительных переживаний, их вызвал прежде всего грубый, развязный тон критики, бесцеремонность диктата. Самое обидное и страшное для Фадеева было в том, что вопросы «руководства» ставились вообще, совершенно не учитывая особенности романа, сложность и необычность его структуры, где чистый документ и свободный вымысел действуют заодно, на равных правах. И писатель не мог даже по требованию Сталина — «пусть себе он бог» — переделывать роман столь упрощенно. Он пошел дру-

гим путем. «Борьба ведь действительно была жестокой», — не устал повторять он. Подполье в Донбассе создавалось в условиях паники, спешного отступления, даже «драпа». В таких условиях и не могло быть идеальной подготовки к организованному сопротивлению.

Сложность ситуации была и в том, что Фадеев не считал свой роман до конца законченным. В том же 1947 году за несколько месяцев до публичного «разоблачения» на встрече с читателями Фадеев говорил, что для него роман — «это еще не остывший кусок металла, до которого еще нельзя дотронуться рукой, многого еще не вижу. Мне нужно еще некоторое время, чтобы я мог объективным глазом посмотреть на все, и тогда придется с годами некоторые вещи постепенно поправлять, дополнять, вычеркивать». Как известно, Фадеев истязал себя жаждой совершенства и к любому совету — писательскому, читательскому — относился очень серьезно, даже слишком серьезно. А здесь такой залп! Как он перенесет все это?

Его недруги радовались: повержен. Его друзья, и среди них Константин Симонов и Борис Горбатов, переживали. У Симонова своя беда. В том же номере «Культуры и жизни» опубликована статья «Жизни вопреки», не оставляющая камня на камне от его повести «Дым отечества». Горбатов, как запомнит Симонов, хотя по-дружески и сочувствует ему, но думает прежде всего о Фадееве: «Бедный Саша, как он будет теперь, как ему будет трудно!» В статье, критикующей «Молодую гвардию», вспоминают и хвалят «Непокоренных» Горбатова, сличают одно с другим в положительном для Горбатова и отрицательном для Фадеева смысле.

«Ты знаешь, как я писал «Непокоренные» и что они для меня такое! — изливает душу Горбатов. — Но как только я подумаю, что кому-то приходит в голову столкнуть одно с другим, мне делается стыдно перед Сашей! Мои «Непокоренные» со всем хорошим, что в них нашли, и его «Молодая гвардия» со всем плохим, что об ней написали, все равно для меня самого это несравнимо! Я-то понимаю, но как сделать, чтобы это понял он? Как ему это сказать? Он же не даст мне это сказать!»

В архиве Бориса Полевого хранятся дневниковые записи лета 1951 года. Многие из них посвящены Александру Фадееву. Теперь они опубликованы и особо ценны тем, что написаны именно тогда, по свежим впечатлениям, на них не лежит печать каких-либо корректировок.

В июле 1951 года Фадеев наконец закончил и передал в издательство новую редакцию «Молодой

гвардии». Три года Фадеев с тщательностью настоящего художника работал над этими страницами. «Победа писателя», — восторженно писали газеты. Но какой тяжкой ценой она была добыта? Слово Борису Полевому.

«Я помню пленум писателей, работавший как раз через неделю после того, как «Правда», а за ней другие газеты раскритиковали недостатки романа. Что там греха таить, не все выводы статьи считал достаточно вескими и убедительными. Так было в первые дни. И я никогда не забуду, как в слове своем на пленуме Ал. А. с большим достоинством, прямо, честно признал недостатки своего любимого детища:

— Я очень люблю эту свою книгу, люблю ее героев и сделаю все, что будет в моих силах, чтобы исправить недостатки, на которые мне указали, — сказал он.

Никогда не забуду, — продолжает свои записи Б. Полевой, — как он стоял тогда — высокий, прямой, белоголовый. И, крепко держась за трибуну, прямо и открыто смотрел в зал».

Не все поверили в возможность нового варианта романа. Один из литераторов, как пишет Б. Полевой, по-своему, по-обыкательски выразил это недоверие таким суждением:

— Хитер, ох, хитер, собака... Ничего-то он не исправит.

Однако Фадеев работал, как он любил говорить в шутку, «с упорством изюбря», испытывая не только привычную для него неудовлетворенность собой, но и мгновения истинного воодушевления, писал «на нервах» и с радостью, «ломаю перья».

Писатель строго придерживался фактов, добытых комиссиями ЦК комсомола и другими организациями. В 1944—1945 годах ничего существенного о взрослом подполье в его руках не было. Лишь спустя какое-то время после упорной, тщательной работы открылась полная картина, и события предстали еще в более сложной форме.

Если бы речь шла о том, чтобы дополнить роман каким-то новым героем, сверстником Олега Кошевого или Ульяны Громовой, Фадеев вряд ли взялся бы перерабатывать роман. В письмах к родителям молодых героев он с предельным тактом, но и с неизменной настойчивостью пояснял, что абсолютная достоверность обязательна для историка, ученого-исследователя, а он романист и вправе писать свободно, повинаясь творческому разуму и воображению. Тем более что вымысел и документ живут в романе «на договоре» честности, правды.

Помните, Сережа Тюленин рассказывает, как он впервые участвовал в настоящем бою. Осталось в живых человек пятнадцать. Тогда полковник Сомов Николай Павлович, уже весь израненный, весь в бинтах, в крови, говорит подростку: «Уходи, чего тебе пропадать». И еще сказал: «Когда бы мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть, да, говорит, жалко тебя, тебе еще жить да жить».

Сергей рассказывал об этом своей сестре Наде в темноте, глубокой ночью и, «сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб». Он, «этакий кремешок», плакал.

Полковник Сомов просил Сережу отписать в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье, что, мол, погиб с честью.

Надо тому случиться, что в городе Горьком жила Сомова Лукерья Ивановна и много лет не получала писем от сына, а погиб он где-то на войне,



ВСТРЕЧИ НА ЗЕМЛЕ ЗАПОЛЯРЬЯ

За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска трудящимися города, воинами Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманску присвоено почетное звание «Город-герой».

В Доме культуры и техники имени С. М. Кирова 1 октября состоялось торжественное собрание.

С речью к собравшимся обратился М. С. Горбачев. Генеральный секретарь ЦК КПСС огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР и под аплодисменты присутствующих прикрепил к знамени города орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

может быть, в донецкой степи. Не о нем ли написал Фадеев? Как ни жаль, но писателю пришлось отвечать матери героя, что его Сомов — вымышленное лицо...

Он писал о Краснодаре, а видел перед глазами свозы слезы тысячи других, замученных, убитых, расстрелянных, пропавших без вести. Развалинам и могилам нет конца и счета. Не раз отчаяние будет терзать души его героев и «ходуном ходить» это страшное чувство — «чувство разверзшейся перед ними бездны конца, конца всему».

Изучая новые материалы-документы, Фадеев все более убеждался, что пройти мимо них нельзя: какие-то внутренние связи (именно связи, отношения) в Краснодарском подполье оставались неизвестными для читателя. Не досказать об этом — значит урезать, сузить масштаб народной войны. И он «воспресил» из рядов погибших коммунистов Филиппа Петровича Лютикова, Николая Петровича Баракова... В новой редакции писатель усилил, активизировал тему партийного разума, опыта (в лице Лютикова прежде всего), сделал эту тему яркой, четкой, убедительной.

Первое июня 1949 года — особенный день в жизни Александра Фадеева. Именно в этот день, точнее, в ночь придет к нему столь долго ожидаемое настроение и вызовет в писателе творческую смелость, решительность. Будто волшебным ключом, откроется путь к активной работе над новым вариантом «Молодой гвардии».

«Настроение? — удивится читатель. — Неужели оно может что-то значить для человека с таким упрямым, сильным характером? Сколько раз он ломал препятствия, подчинял их своей воле!»

Но мы говорим здесь не о Фадееве — человеке, общественном деятеле, а о Фадееве-писателе. Поиски верного стиля, даже интонации повествования имели для него решающее значение. Говоря фадеевскими словами, в творчестве он ориентировался «на интуицию и чувства».

Его неприязнь рассудочности афористично выражена им в книге «Ленинград в дни блокады»: «Часы естественно носить в кармане, но неестественно жить внутри часового механизма».

Как видно из записных книжек, черновики, к июню 1949 года писатель собрал, казалось бы, достаточно материала, чтобы приступить к интенсивному творчеству. Однако дни и ночи бежали, может быть, быстрее дел — ни одной новой главы или страницы, написанной набело, так и не появилось в рукописях. А ведь прошло более полутора лет после критики. Можно только представить себе, как это нервировало его.

Фадеев, как художник, как мастер, опирался на стихийный, своеобразный элемент «природы» в собственной душе, на доброту неожиданных прозрений. Он знал, что в том его и сила, и слабость. Особенность подобного дарования исключает строгую плановость в творчестве, равномерный и равнозначный труд на каждый день, допуская частые перерывы или даже срывы в работе. Но зато этот инициативный, новаторский, наступательный талант переживает и звездные часы, прекрасные мгновения, когда все в душе, до дрожания сердца, переполнено восторгом творчества, мыслью, движимой изнутри.

Итак, санаторий в Барвихе, под Москвой. Он один в комнате, которую можно назвать палатой, а можно — и рабочим кабинетом. Фадеев приехал сюда не только для того, чтобы подлечиться, но и вплотную засесть за роман. Прежде всего работать, писать. Днем было солнечно, душно. Где-то за зелеными озерами лесов собиралась гроза. К вечеру она обрушилась шумным, июньским ливнем.

...Внезапно, будто качнулась в душе ветка сирени или жасмина, как скажет он, открылась голубизна юности, да так близко, волнующе, что Фадеев уже не мог ни о чем ни думать, ни писать. Знакомые, дорогие лица, жесты, смех, таинство слов. Издалека под шум морских волн и вот такой же грозы, когда-то бушевавшей во Владивостоке и загнавшей всю их дружную юную компанию в беседку у самого моря, отчетливо вырос облик девушки, его первой любви — Аси Колесниковой.

Первая любовь прислала ему письмо несколько лет назад. Но он тогда почему-то не ответил ей. То ли потому, что, как и всегда, захлебывался делами, то ли потому, что не было настроения, а может быть, и потому, что прошлое в те дни было присыпано долгим снегом времени. Случались в его жизни состояния, когда прошедшее терялось в дымке, а завтрашний день представлялся ему в ясных, чистых очертаниях. Еще одно напряженное усилие, и будет сделан решающий шаг в завтра. До поры до времени он полагал, что все лучшее впереди, а не позади.

И вот теперь Фадеев вдруг почувствовал, как необходим ему диалог с юностью. Именно теперь, когда надо озвучить новые значительные события краснодонской истории, оживить новые характеры. Писатель не может делать это формально, механически.

«Бушует гроза, окна открыты, уже поздний вечер, — начинает Фадеев свое письмо к А. Ф. Колесниковой, — и мне очень хорошо, как бывало хорошо в детстве и в юности, когда за окном так же рвалась в темноте молния и лил шумный весенний дождь».

Писатель вновь почувствовал, что прошлое — его юность — и есть та точка опоры, без которой, если об этом не помнить, не вспоминать, просто трудно жить в таком сложном, противоречивом мире. Итак, он начинает первую главу повести о своей юности — пишет письмо Асе Колесниковой в город Спасск, где его подруга, теперь уже Александра Филипповна, заведует районным отделом народного образования.

Воспоминания ускорили перспективы доработки романа, сроки завершения его. Рукописи, записные книжки наполняются набросками планов, концептами возможных сюжетов, лягут мазками строки, заговорят новые герои — Филипп Лютиков, мальчик Сашко... Снова, как писатель, он обретает и твердость взгляда, и силу воли, и выстраданную остроту, и точность наблюдений.

Фадееву повезло. Именно к этому времени удалось раскрыть более полную картину партийного подполья в Краснодаре. Фадеев поспешит сообщить одному из партийных работников, что для него «много, казавшееся раньше неясным, теперь вполне прояснилось».

Одна из корреспонденток писателя, краснодонская учительница Анна Дмитриевна Колотович, писала: «В шурфе вместе с молодогвардейцами лежали 11 членов партии, которые и обвинялись и погибли за принадлежность к партийной организации. Кое-какие события требуют следующей доработки, от этого их историческая ценность не теряется. Партийная организация возглавлялась Лютиковым (оставлен для партийной работы в Краснодаре) и его друзьями по работе — Бараковым, Соколовой, Яковлевым (эти все лежат в одной могиле с молодогвардейцами, будучи вынуты из

шурфа). Я имею на руках факты, данные, которые говорят о том, что шире, плодотворнее была работа членов подпольной комсомольской организации...»

Писатель начинает подробно разрабатывать реальную, документальную основу новых глав и героев своего романа, ту почву, на которой вырастают обобщения. Рукопись начинает жить, наполняться «лесами» фактов, характеристик, записями о совершенных подвигах, деталями военного быта.

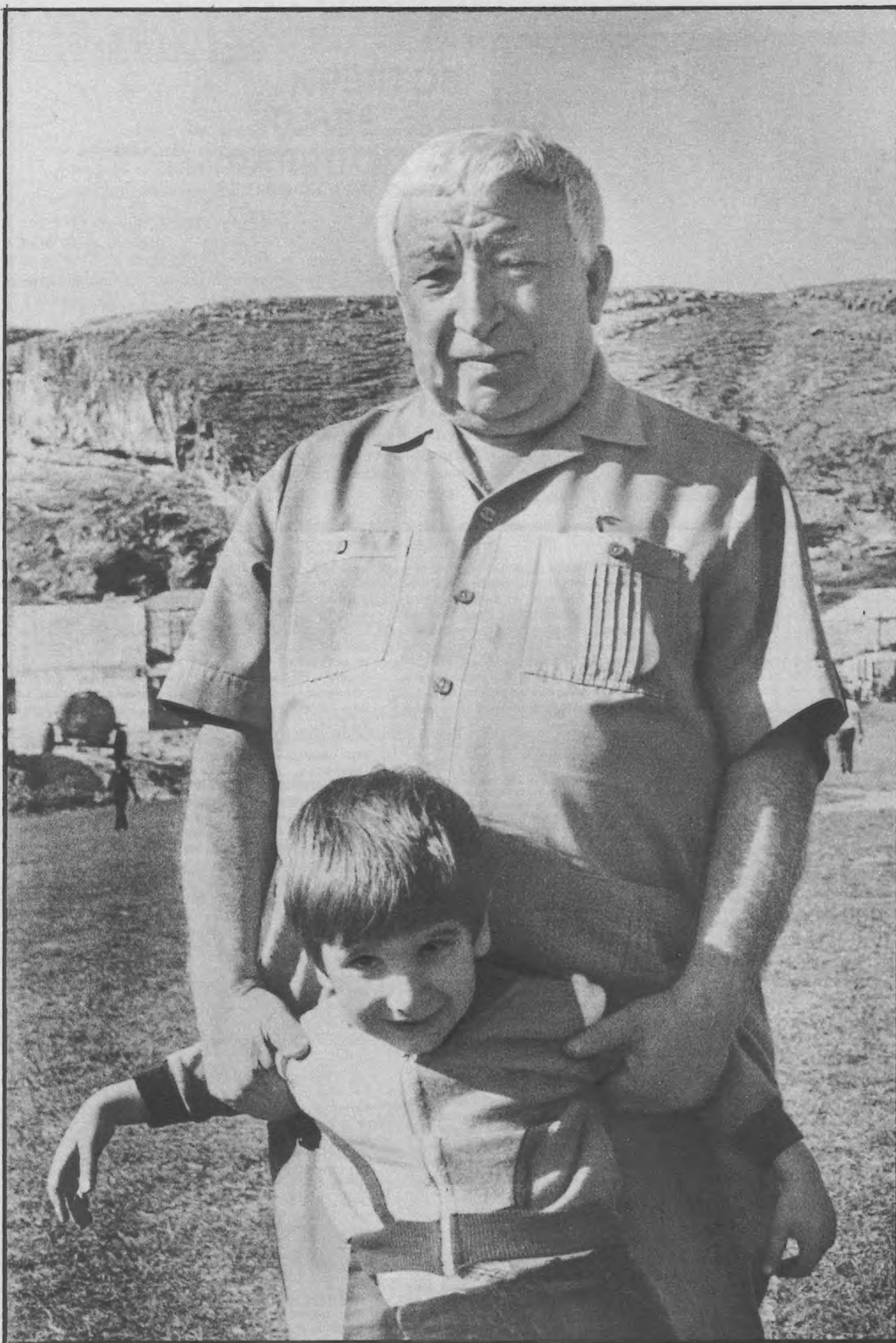
Новые характеры ожили, каждый со своим настроением, особенностями, привычками. Филиппа Лютикова, партийного вожака, писатель полюбил как давнего, умного друга: его твердость в решениях, житейскую, неспешную мудрость в советах молодым подпольщикам и эту сдержанность в выражении чувств, непрерывно терзавших его живую душу.

Вот что важно. Ни одной строкой Фадеев не изменит дух первого варианта книги. В новой, дополненной редакции молодые герои также действуют как сложившиеся, зрелые люди. Никакой подсказки не нужно молодым краснодонцам, чтобы решиться на борьбу. Решение это придет к ним до встречи со взрослым подпольем. До встречи. Сознание борца зреет в них естественно, нарастая перед лицом опасности, это голос внутренней совести, мужества, патриотизма. Все это и приведет их к созданию организации «Молодая гвардия» осенью 1942 года, сорок пять лет тому назад.

Лютиков, Проценко, Бараков — организаторы борьбы, они увлекают молодежь талантом жизненного опыта. Само собой, молодые люди ищут их совета, поддержки, чтобы обрести уверенность и силу. Известно, что зафиксировать детали реальных событий, дать характеристику общей исторической картины может каждый добросовестный человек, заинтересованный в поисках истины. А вот рассказать о событиях так, чтобы на них лежал отсвет характеров, повернуть время вспять и озвучить голоса живых людей, может только писатель. В сюжет романа вклинились новые судьбы, произведение пополнилось отлично выписанными главами.

Мысль, которая озаряла каждую страницу первого варианта, — человек должен оставаться до конца верным самому лучшему в себе, даже в тяжких испытаниях, — эта мысль не исчезла, а как бы вновь зажглась, осветив более широкие горизонты и масштабы народной, Отечественной войны.

И все-таки даже в новом варианте фадеевский роман нельзя рассматривать как историческую хронику, требуя абсолютной очерковой достоверности. Из сферы реальности события перешли в область литературы. И мы размышляем о них уже как о характерах и явлениях, художественно осмысленных писателем. Не роман-документ, а роман-обобщение. Творческому, а точнее сказать, конструирующему началу в «Молодой гвардии» принадлежит важнейшая роль. Воображение идет в потоке событий, перевернувших его душу. Об этом речь, в этом суть.



Расул ГАМЗАТОВ:
воспоминания и размышления
в литературной записи
специального корреспондента
«Огонька»
Феликса МЕДВЕДЕВА

НАД И ПОД КРЫЛОМ ОРЛА

Поэт. Философ. Сын Гамзата Цадасы. Отец Патимат, Заремы и Салихат. Дед четырех внушек. Эпикуреец. Балагур-рассказчик. Дипломат. Хитрован. Сама наивность. Удачливый, везучий. Обласканный Сталиным. Гаргантюа и Пантагрюэль одновременно. Санчо Панса и Дон-Кихот. Собеседник Шолохова. Друг Твардовского, Фадеева, Симонова. Живой классик.

Легенда. Непоседа, объездивший полмира. Проведший часы общения с Фиделем Кастро и Индирой Ганди. Вечный слуга двух самых преданных ему женщин на свете: поэзии и жены Патимат. Коммунист. Автор ста книг.

Народный поэт Дагестана. Лауреат Государственных премий. Лауреат Ленинской премии. Секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР. Депутат Верховного Совета СССР. Член Президиума Верховного Совета СССР. Герой Социалистического Труда...

Я пробыл с Расулом Гамзатовым восемь дней. По горным дорогам, на вертолете, на машинах мы объездили большую часть Дагестана. Эта земля потрясает. Удивляет. Лишает сна. Красота ее неопишима.

Расул Гамзатов — один из ее добрых хозяев.

НА ПОРОГЕ ОТЦОВСКОГО ДОМА В ЦАДА

Я рад, что мы беседуем в доме моего отца, в ауле Цада. Это когда-то оторванное от всего мира высокогорное селение связано теперь со всем миром. Отсюда широко и далеко видно. Однажды меня спросили, где находится твой родной дом, и я ответил словами одного из горских мудрецов: «Над и под крылом орла».

При жизни отца здесь побывало много известных гостей, писателей, деятелей культуры. И уже ко мне приезжали Твардовский, Симонов, Гроссман, Казакевич, Крон, Михалков...

Иногда говорят, что меня, дескать, поэтом сделали переводчики. Что ж, я рад, пусть будет так. Правда, об этом я и не думаю. Со всеми своими переводчиками я учился в Литинституте в послевоенные годы, дружил с ними еще тогда, когда никто не знал, кем и чем мы все будем на этом свете. Я благодарен Науму Гребневу и Якову Козловскому, Вере Звягинцевой и Елене Николаевской, Семену Липкину и Владимиру Солоухину, Якову Хелемскому и другим переводчикам, что они помогли мне обрести всесоюзное имя, стать известным русскому читателю.

Да что говорить, у меня есть национальное чувство, а националистических чувств нет и не может быть. Да и не только у меня, у всего моего народа.

Вот видите, идет дорога. Называется она русская дорога. Нам, мальчишкам, говорили когда-то: «Бегите до русской дороги и обратно». Горский народ всегда шагал по русской дороге и возвращался обратно в свои аулы. По русской дороге все даге-

станции пошли, и весь мир увидели, и историю свою утвердили, традиции прославили. Революция много дала и России, и всем народам, ее населяющим.

Есть такое выражение: в того, кто выстрелит из пистолета в прошлое, будущее выстрелит — из пушин. Сейчас идет перестройка, ломка старого, но я считаю, что нельзя все ломать. Хорошее надо беречь, хранить, восстанавливать.

Будто в груди у меня два сердца бьются: одно — «за», другое — «против». Будто надвое я разделен. По-моему, очень плохо, если бывает в стране так, что все от одного человека зависит. Был культ личности, а потом стал культ должности. Я не принадлежу к тем людям, которые при гостях гостей хвалят, за них пьют, объедаются им в любви, а когда гости уходят — начинают их ругать вдогонку.

Молчать о людях, которые принадлежат истории, несправедливо. И я хочу знать, чему я так верил, почему меня обманули и в чем. Если и вправду за время, в которое мы жили, были преступления, их прощать нельзя и оправдывать их не следует. Многие трагические ошибки, они думали, что государство укреплялось. Если оно и укреплялось, то человек-то мельчал. Считаю, что и сегодня мельчает, ибо в него внедрилась болезнь, которую Ленин называл коммунством, бюрократизмом.

В последнее время все чаще и чаще я слышу такие вопросы: «Что же мы так? Неужели все у нас плохо?» За рубежом меня спрашивают об этом, а у нас родном, да и сам я спрашиваю себя: «Что же получается, работали, трудились, жили, пели, танцевали — и все руководители после Ленина были, оказывается, плохие». На этот вопрос четкого ответа я еще не слышал. Ответить же на него надо.

Вы спрашиваете меня о том, как, будучи в течение двух десятилетий членом Президиума Верховного Совета СССР, я голосовал за те или иные ошибочные указы, постановления, за награждение тех или иных «героев», как мы теперь знаем, недостойных людей. Если честно, я думал: сколько золота идет на эти ордена и медали, сколько средств тратится! Но подход к делу и здесь был бюрократическим: в десятой пятилетке столько-то награждать, в одиннадцатой пятилетке — столько-то. Разве так можно? Вот и функционирует без продыху ведомственное издательство Верховного Совета СССР. Что издает? Стенографические отчеты сессий Верховного Совета на пятнадцать языков. Эти же указы затем издаются на местах. А надо ли так? Ведь лежат те фолианты, напечатанные на хорошей бумаге, мертвым грузом. Конечно, голосовал: за многие решения, правильные, человеческие, справедливые. Только как жалко, что, несмотря на эти решения, преступность медленно снижается, что здравоохранение у нас не на высоте... Мало ли плохого, несовершенного... Да, я раздвоен. Одна истина остается по левую сторону, другая — по правую. Наверное, разные поколения по-разному думают, по-разному оценивают события.

Я вырос в Дагестане, в семье, в которой Ленина изучали по Сталину. Самого Ленина мало изучали. Больше Сталина цитировали. И первое стихотворение я о нем написал; совсем мальчишкой напечатал ту оду. Редактор газеты восхитился в передовой статье, что в горах не будет человека, который это стихотворение не выучит наизусть. Как тогда праздновали день приезда Сталина, ведь он автономно республике объявил!

За поэму, написанную о событиях тех лет: приезд вождя, получение автономии, рождение республики, день, который каждый считал днем своего рождения (я это искренне написал), — я получил тогда Сталинскую премию. В то время у моего народа все было связано с ним одним. Как быстро меняется история: сегодня дата празднования автономии в республике перенесена.

С другой стороны, я считаю, что у меня украдено время. Часть жизни украдена. От меня многое, оказывается, скрывали. Я жил в ауле, ходил в школу, и от меня скрывали какую-то часть истории, целый ее пласт. Одних поэтов скрывали, а других преподносили. Полностью я не знал тогда даже Маяковского. Есенина не знал, Блока. Я воспитывался на стихах Жарова, Безыменского, Виктора Гусева. Жизнь была огромным театром, и, что происходило за его кулисами, я о том не ведал. Я просто всему наново верил. И когда в 1937 году четырнадцатилетним мальчишкой из газет узнавал, что людей стали репрессировать, то мне вонзину казалось, что сажают врагов народа.

Меня часто спрашивают, сильно ли было влияние отца. Как тут ответить? Я считаю Гамзата Цадасу великим поэтом, но стихотворцем я стал, когда самостоятельно, без его влияния

серьезно занялся поэзией. В 1945 году, после войны, я приехал в Москву, поступил в Литературный институт. Приехал из многоязычной республики. У нас считалось (не приписываю себе, так говорят): кто соседа ругает — это дурак дома, глупец дома, кто другую нацию ругает — это глупец своей нации, кто другую страну ругает — это дурак своей страны. Уважение к старшим, хорошее отношение к женщинам, гостеприимство — извечные горские традиции. Детство мое — это отцовский дом, распахнутый перед гостем.

К отцу приезжали Николай Тихонов, красавец Владимир Луговской. Одиннадцать лет мне было, когда первые свои стихи я им читал. А они читали свои стихи отцу. Это они открыли отца всему свету. Позже приютили меня в Москве. При сдаче экзаменов в институт в первом же сочинении, которое я старательно переписывал у русского поэта, я сделал шестьдесят ошибок — ровно столько, сколько сделал и мой сосед по парте. Много возились со мной, много. Я не знал в ту пору самого элементарного: кто такие чукчи, евреи, кто такие русские. Я просто об этом не думал. В Большом театре Уланову в первый раз увидел — открытие. Тарасову во МХАТе — открытие.

Пастернака встретил — открытие. Эренбурга услышал — открытие.

Митинги, обсуждения, осуждения — тоже открытия. Участвовал в одном из собраний и кого-то клеймил. Рядом со мной стояли иные известные писатели, которые тоже разоблачали. Обо всем увиденном я написал отцу. Тот срочно вызвал в Дагестан. «Ты читал произведения писателей, которых клеймишь?» — спросил он. «Нет, не читал, но пишут же о них в газетах». Отец строго посмотрел и произнес: «Ну, какое же ты право имеешь, не читая книг писателя, судить его?»

Не скажу, что тогда я очень уж послушался отца, но в дальнейшем старался не поступать так опрометчиво. А митингов много было. По Пастернаку, по Твардовскому, по музыке, по космополитизму.

Но что же стало с моим народом в те годы? Вся партийная организация республики разгромлена, вся интеллигенция, которая революцию делала. Сжигались книги, библиотеки, которые люди, ставшие по чьему-то произволу виноватыми, собирали долгие годы.

...Радостно сегодня, когда Россия отмечает юбилей Куликовской битвы, «Слова о полку Игореве», Пушкина... Но, к сожалению, значение истории подчас принимается. В Махачкале, например, на университетской кафедре отменено изучение дагестанской истории. Как же так можно? Изучение истории своего народа не мешает изучению истории других народов. Лично я, например, очень благодарен арабской культуре, потому что мой отец был образованнейшим человеком. Романа Роллана он читал по-арабски, Толстого, Чехова, русские книги — по-арабски.

Я считаю, что любая культура заслуживает того, чтобы преклоняться перед ней. Как долго у нас считалось, что лучшее разрешение национального вопроса — умалчивание о нем. Все делалось так, будто вопрос давно уже этот снят с повестки дня.

Как же мы хотим приукрасить себя в своих собственных глазах!

Проблема отцов и детей во всем мире существует. У нас же делали вид, что она разрешена окончательно и бесповоротно. Будто бы все у нас гладко, без сучка без задоринки. До того дотянули, что тяжело стало ошибки исправлять.

Многое пытался выразить в своих стихах. Я, правда, не публицист. Гражданственность у нас по-разному толкуют. Сейчас идет перестройка. Оглядываясь назад, нужно идти вперед — это необходимо. Иначе нельзя. Только стремление свое не показывать надо, а доказывать.

Но в каждом хорошем начинании, к сожалению, появляется иногда порча. Сейчас наблюдается то, что я бы назвал однобокостью: крикуны, гово-

руны, ниспровергатели. Под видом гласности — голосистое кликушество. А истина-то в серьезной дискуссии, в сопоставлении разных взглядов.

С другой стороны, если оглянуться назад, понимаешь, что одноцветность очень помешала развитию литературы. Какая радость — возвращение многих писателей! Если мы каким-то преступникам амнистию объявляем, почему в литературе амнистий не объявить! Как Бунину когда-то. Мы простили его и по-прежнему любим. А если бы не вернули, не простили? Чего-то бы не хватало нам без Бунина, брешь зияла бы в литературе.

Появление новых «старых» имен не должно умалять других авторов. Литература не та сфера, что, если кто-то пришел, другой должен уступать место. В литературе места всем хватит.

В Дагестане тоже иные думают: а не проглотит ли русская литература нашу национальную культуру? Это абсурд. Именно русская литература, революция утвердили нашу культуру, возвратили нам во многом нас самих.

Три учителя у нас: природа, годы и гениальность веков. О многом из того, что мы сейчас переживаем, еще Ленин предупреждал нас. О коммунстве, например. Коммунист у меня всегда ассоциировался с чистой взглядом. Но сколько среди них было и есть еще случайных людей! Бумажных коммунистов.

Я был участником, делегатом семи партийных съездов. Особенно мне запомнились XXII съезд и XXVII. Потому что на них говорили о человеческом достоинстве, о совести, о правде, о взаимоотношениях людских. Я участвовал и во всех писательских съездах, начиная со второго. Второй съезд и последний, восьмой, были, по моему мнению, самыми интересными. Я не хочу умалять значения остальных съездов, они были в чем-то важными, но не было на них критических выступлений, все больше аплодисменты звучали, больше было показного, неискреннего единодушия. Не хватало на них яркого, острого слова Валентина Овечкина, Александра Твардовского, Михаила Шолохова.

Мне запомнились все речи Фадеева, произнесенные с чувством, с достоинством, со страстью.

В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ ПОД ТРЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

— Недавно я был в Англии и от многих там слышал, что духовная столица мира сегодня — Россия, Советский Союз. Еще недавно мало интересовались тем, что у нас происходило. А нынче на Москву смотрят действительно весь мир. Смотрит с надеждой, с озабоченностью: победит ли перестройка? Я тоже задаюсь этим вопросом. Да, мы против культа личности, против насилия, против нарушения прав человека. Но я вижу рост культа должности, препоны со стороны чиновников.

По нашим аульским законам вначале всегда старшего спрашивают, того, кто больше звезд видел. А сейчас собрания откладываются, свадьбы откладываются... Ждут, пока районный милиционер придет, он «должность» привезет с собой, без которой нельзя начинать мероприятие. Я, естественно, не против должностей, но не следует преувеличивать их значение в каждом людском деле.

Ко мне, как к депутату, приходят люди: «Помогите попасть к тому-то и к тому-то». Мне уже кажется, что к министру простому человеку попасть невозможно. Тысячи людей ищут правду. Тысячи людей стоят в очередях канцелярий, пребывая в бесконечных ненужных командировках, отпусках за свой счет.

Сама наша борьба с бюрократизмом превращается подчас в разговоры. По-прежнему много различных бумаг, много пустых решений!

Каждый день какие-то инициативы появляются. Но надо же старые доводить до ума, не забывать о них. Чувствую, что заседаний больше стало, во всяком случае, в наших писательских организациях. И многие нерезультативны. Ибо на них занудство и тоска.

Литературное мастерство стало наследственным делом. В Литературном институте учились отцы, а ныне учатся их дети и внуки. Я бы назвал это родственным эгоизмом.

Эгоизм этот и в науке есть. И в искусстве. И в дипломатии. Даже в торговле. Слышал я такое недавно: на родственном совете решили одного представителя клана «сделать» Героем Социалистического Труда (и все труды приписали ему одному). Что бы вы думали? Удалось.

Не нравится мне и суэта некоторых уже немолодых писателей, которые поскромнее должны бы себя вести. Они считают, что перестройка благодаря им наступила. Да, настал черед Пастернака. Но ведь не секрет, что иные из этих «немолодых» голосовали за исключение Пастернака. Никто из нынешних радателей имени великого поэта не выступил в свое время в его защиту. А ведь они знали уже тогда все его стихи, все его произведения, знали, что он подарил России прекрасные переводы Шекспира, Гете, Бараташвили. Отчего же молчали?

О Твардовском много говорят и пишут. Твердят, что музей Твардовского надо открывать, и все такое... Но, дорогие мои, сходите на его могилу. Посмотрите, в каком она запущенном состоянии. Хоть бы цветком положили. Где были те или иные из нынешних смелых, когда на публикации «Нового мира» сочинялись коллентивные письма под названием «Привлечь к ответственности за...»? Где были они, когда травили Твардовского, уже больного, лежащего? Почему же тогда не защитили большого поэта?

Последние годы мне посчастливилось, я очень дружил с Твардовским. Я не люблю хвастаться документами, но есть его письма ко мне, он приходил ко мне в гостиницу, я бывал у него дома. Что меня лично в нем привлекало? Отличное знание всей европейской поэзии, восточной поэзии, Хафиза, влюбленность в китайскую поэзию. Он был скромнее, и в делах. Был самостоятелен, самобытен. Никогда не стремился кому-то понравиться.

Вспоминаю знаменитый бар около Литинститута. Частенько я там бывал. Приходил и он. Не забыть задушевных разговоров. Мои стихи, честно говоря, он никогда не хвалил, а «Мой Дагестан» напечатал.

Стал я членом редколлегии «Нового мира». «Литературная Россия», членом редколлегии которой я был тогда, написала гнусную статью о «Новом мире» и об Александре Трифоновиче. Твардовский мне говорит: «Я написал протест, и ты, если хочешь, выбирай между мной и «Лит. Россией»».

Он меня другом считал, но я не могу назвать его другом. Он для меня слишком могучий человек. Он не любил почему-то ездить в республику, но ко мне приезжал в аул вместе с женой Марией Илларионовной. Показал я ему места Хаджи-Мурата. Помню, как я Марии Илларионовне цветы собирал, и он говорит: «Я травы люблю».

Я не видел его ни разу записывающим что-либо в записную книжку. Все старался запомнить. Как хорошо, что в моем архиве сохранилось много снимков о пребывании Твардовского в Дагестане! Глядя на них, я ощущаю, каким духовно богатым он был.

Поэму «Два сердца», написанную давно, я дал Твардовскому на прочтение. Он ответил мне письмом, которое я, конечно, храню. Письмо было суровым, Александр Трифонович резко меня критиковал. Я не обиделся на него за это, хотя считаю, что он не во всем прав. Зря Твардовского считают безгрешным. Безгрешных людей нет. И я его уважаю так, как, быть может, мало кто уважает. Это великий писатель. Но у него тоже были грехи. Быть может, в чем-то он был неискренен. Время было иное. Вообще история разберется.

Письмо его, хочу вернуться к этому, меня удивило. Он кормил меня за то, что я беру тему из заgrabной жизни, что я якобы у кого-то другого перенял художественные приемы. Возможно, на себя намекал. Если так рассуждать, Твардовский в своем «Теркинне на том свете» тоже не нов. Сколько до него было написано об аде и рае... Потом я понял, в чем де-

ло, почему Александр Трифонович так разъярился на меня. Его покорило то, что свою поэму я читал какой-то другой персоне. А ему об этом сказали. Да, читал, но ведь это было моим правом. Персона — тогдашний редактор «Известий» Алексей Аджубей. Поэму мою он не напечатал. Так она пролежала в столе 25 лет.

Твардовский называл себя другом, но на самом деле он был учителем. Но этого он никогда не подчеркивал. Не выпячивал свое наставничество, свое учительство. Его поэзия была на стороне слабых, рядовых людей. А мы очень часто были на стороне сильных. Хотя это противоречит природе, природе литературы, мы как бы сало мажем маслом.

Меня всегда трогало, как дружили Фадеев, Федин, Светлов, Смеляков. Все встречались в ЦДЛ за чаем или бокалами вина, подолгу засиживались за дружеской беседой. Единственно Твардовский мне однажды сказал: «В ЦДЛ не ходи. Если хочешь выпить, иди в другое место».

СРЕДИ РАЗВАЛИН ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

— Откуда только пошла гулять пресловутая формула о «преклонении перед Западом»? Преклоняться перед Гете, перед Флобером, перед Гейне, преклоняться перед японской поэзией или китайской поэзией Ду Фу — разве это плохо?

С другой, правда, стороны, взаимовлияние Запада и Востока нивелирует национальные черты.

Быстрые побегі дает лишь национализм, подлинный интернационализм труднее воспитать. Вот примеры. Дагестанец женится на русской. Это преподносится как факт интернационализма. А дело-то все в самом элементарном и банальном: полюбили друг друга молодые. Или в колхозе работают люди пяти различных национальностей, и живут они мирно, дружно. Плоды интернационализма! — кричат твердолобые догматики. Значит, если колхозники намылят друг другу шею, не поделив, допустим, очередь за импортной косметикой, — это национализм? Глупость! Вообще-то мне кажется, что в Дагестане проблемы интернационального воспитания разрешены лучше, потому что в многоязычной нашей республике сама жизнь этого требовала. У нас есть места, которые осязаны близостью людей разных национальностей. Конечно, великий русский язык стал для всех нас объединяющим вторым языком. Да, я поддерживаю двуязычие, билингвизм. Я согласен с Чингизом Айтматовым — это выход из положения. Двуязычие для наших народов — это как бы два родных языка.

Но двуязычие нельзя насаждать. Я говорю о своем народе, а дело грузин или эстонцев — принимать билингвизм или нет. Я считаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Для малочисленных народностей это особенно важно. Литературой оправдано: Чингиз Айтматов пишет по-русски, Эфенди Капиев писал по-русски, Фазиль Искандер пишет по-русски. А вообще человек должен знать не только свой родной язык. Помните чьи-то слова: сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Я рад был бы сейчас и английским владеть, и французским. Но увы... Новое поколение, думаю, будет образованнее нас, а значит, «интернациональнее».

Языки, с материнским молоком впитанные, не исчезают со временем. И идет сейчас процесс не исчезновения, а утверждения языков. Только в последние годы в Дагестане созданы детские и взрослые журналы на родных пяти языках.

Без языка и без истории народа нет. Мой народ, быть может, не такой великий, но история дагестанского народа и богата, и поучительна. Все в ней переплелось: и беды, и радости человеческие. Так зачем обижать мой народ, кому этого хочется? Тем не менее я читал в одной статье об исламе, что надо, дескать, переименовать те или иные названия и имена,

связанные с религией. Я не за ислам, но оттого, что я буду Василий Гамзатов, а не Расул Гамзатов, ему что, автору той статьи, полетчает?

Даже название ансамбля «Ялла» похоже по звучанию на слово «аллах». Народ сам себя создает, сам выбирает себе имена. Насилие здесь бесплодно. Когда в свое время уничтожали мечети, уничтожали и историю, и архитектуру, и культуру народа.

Я с подозрением гляжу на людей, которые высокомерно говорят про историю других народов: «Приукрашение...» В Узбекистане — древняя история. В Грузии — древняя история. В Армении — древняя история. Разве можно сомневаться в этом? Да и зачем? Что есть, то есть. Чья-то история моложе, чья-то древнее, глубже. Надо изучать друг друга. А не завидовать. Это же прекрасно, когда народы будут знать историю друг друга. Ведь столько еще не познано в любой истории. Да, к примеру русских людей повсюду привычают как старших братьев. Но элемент недоверия вызывают назначения, допустим, в хлопковые районы людей из Рязани. В этом видится некоторый просчет. Это дает пищу для разжигания националистических настроений.

Сейчас нужен культ человека. Не культ должности, а культ человека. Даже в 1937 году мы пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Но вольно дышать — это не только жить у себя дома, но и мир посмотреть, по Парижам поехать, лондонского тумана вдохнуть. Надо чаще выезжать за границу. Не общаясь с зарубежными странами, не имея научно-технических обменов, литературных, культурных связей, как можно двигаться вперед? Хорошо, что много в этом отношении сделано Двадцатым и Двадцать вторым съездами партии. Надо срочно облегчить человеку оформление поездок за границу, снять нервозность в этих делах. Сколько комиссий надо пройти, бумаг оформить, чтобы выехать за рубеж! Ощущаю это на себе. В конце концов я не прогуливаясь еду, а по литературным, государственным делам.

Образование получить у нас — подчас тоже бюрократическая волокита. Зачем, к примеру, человеку из республики писать сочинение на русском языке? Меня старославянский язык обязывали учить. Мне он нужен сегодня? Ни разу не пригодился. Наверное, знание старославянского не лишнее, но лично у меня такой необходимости не было. Так вот, за сочинение с ошибками абитуриент из республики не попадает в институт. Считаю, что это несправедливо.

Как необходима сегодня тесная связь между людьми, народами! Есть у нас телефонная связь (правда, половина телефонов не работает), есть почтовые связи. Вот душевных связей больше надо, они самые главные.

В ГУНИБЕ, НА МЕСТЕ ПЛЕНЕНИЯ ШАМИЛЯ

— Очень больной для дагестанцев вопрос — судьба Шамиля, которого даже Маркс считал героем освободительного движения, национальным героем. В свое время Чернышевский, Добролюбов, многие русские люди высоко оценили его борьбу против колонизаторов. Он первым не напал на Россию. Это царские генералы приказывали сжигать селения, аулы. И Шамиль возглавил борьбу за свободу. Почему его и сегодня иные продолжают считать реакционным деятелем? Бросают совершенно бездоказательные обвинения Шамилю, публично объясняются в ненависти к нему?

Но кто виноват, что появился такой герой Шамиль? Ответ один — царь,

его завоевательские устремления. Если нападает враг, нельзя сидеть сложа руки. Это не в характере горца. Сам Шамиль никого не обидел. Только вот «кобижал» царя в течение 25 лет, пока боролся с его экспансией, выражаясь современным языком...

Давно уже я написал и до сих пор не могу напечатать поэму «Шамиль». Не скажу, что это хорошая поэма, что это моя большая удача, но искренне верю тому, о чем рассказывал. Некоторые люди у нас боится имени Шамиля больше, чем волка в степи. Больше, чем самого царя, который воевал с ним. У одного руководящего работника я спросил: «Почему вы так боитесь Шамиля?» «Из-за того, что я Шамиля не упомянул, ничего не случится, а за то, что упомянул, меня снимут с работы», — ответил он мне. И в самом деле это так. В Дагестане шла пьеса, отражающая шамилевские битвы. Никто из руководства ее не смотрел. Между тем пьесу сняли по телефонному звонку.

Чего мы боимся? Истории? Правды? Самих себя? Или снова и снова страшимся жупела национализма? Но у Дагестана своя национальная история, а в этой истории свои герои, судьбы, свои сложные социальные коллизии. Зачем же «вырезать» историю, она ведь не кинолента. Дагестан — республика, а не только заготовительный пункт. Имя Шамиля нельзя вырвать из нашего прошлого. Нельзя! К движению Шамиля, к его действиям с симпатией относились не только дагестанцы, но и лучшие русские люди, лучшие писатели России, социал-демократы. Этому движению сочувствовал великий украинец Тарас Шевченко, приветствовали ученые Азербайджана, Грузии, Казахстана. И в нашем современном Дагестане нет такого поэта, который бы не упомянул добрым словом имя легендарного народного вождя. О нем писали Сулейман Стальский, Гамзат Цадаса, Эфенди Капиев. И потом — герой башкирского народа Салават Юлаев также сражался с царем, но имя его открыто, почитливо. Шамиль же считается иными чуть ли не английским шпионом.

Мне дорога Россия. Я перевел многих русских писателей. Но почему же иные русские писатели, ученые бесцеремонно вторгаются в нашу историю, искажая ее, уродуя? Ведь нельзя отнять то, что в душе у народа.

Мы привыкли к «Хаджи-Мурату» Толстого; нельзя требовать от Шамиля и от Хаджи-Мурата, чтобы их сложные судьбы «вписывались» в сегодняшний день. Они противоречивы. Ведь борьба с царем длилась четверть века. Сами противники уважали Шамиля. Нельзя быть вульгаризаторами истории. Каждый народ в свое время воссоединялся с Россией при разных исторических обстоятельствах. Если будем рассматривать их борьбу за независимость как борьбу против русского народа, это будет глубокой ошибкой. Оскорбительной не только для коммунистов, но и для всех мыслящих людей.

В свое время вместе с Гией Данелия и Владимиром Огневим я написал сценарий «Хаджи-Мурат». Данелия должен был снимать эту картину. Но нашлись люди, которые сразу же приклеили нашей работе ярлык: дескать, она мешает дружбе народов. Но почему мешает? Лев Толстой не мешает, а я мешаю? О Шамиле существует огромная литература, в том числе повесть Петра Павленко, давно не переиздававшаяся. С именем Шамиля связаны те или иные страницы уже нашей современной истории. Многие поплотились карьерой, судьбой, а то и жизнью только за то, что писатель, историк сказал правду об отношении к Шамилю, о его роли в истории дагестанского народа. Если кто-то думает, что для интернационального воспитания нужно именно так искажать историю, то он глубоко ошибается. Такое отношение лишь озлобляет человека. Перестрой-

ка должна коснуться и имени Шамиля. Это очень важно.

В ЗАПАСНИКАХ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ, ПЕРЕД ПОЛОТНАМИ ХАЛИЛА МУСАЕВА

— Мы смотрим на картины знаменитого дагестанского живописца Халила Мусаева. Судьба его трагична. Родился он в селе Чох. Рано раскрылся как талантливый художник. Первый из дагестанских художников, иллюстрировавший русские, советские журналы. Он писал образы горянок, женщин, прекрасные картины, природу талантливо писал, с большой душой. В 1921 году Халил поехал учиться в Италию, там женился. По каким-то причинам на Родину не вернулся, остался на чужбине. Умер Мусаев в Нью-Йорке недавно. Его картины на Западе получили признание, имя его широко известно в Европе, в Америке. А вот в Дагестане имя Х. Мусаева запрещено. Те, кто любит искусство, знают о нем, ценят его творения. Но официального признания он не получил до сих пор. Разве так можно? Судить человека, который не сделал ничего плохого своей Родине, своему народу? В Дагестане не так уж много выдающихся художников. Разве можно бросаться такими, как Х. Мусаев? Он был, кроме всего, смелый, мужественный человек. У нас до революции запрещали рисовать человеческие лица. Халил рисовал образы людей, героев, образы певцов, образы красивых женщин. Он любил человека, горца, горячего, пылкого патриота. Повторяю, мы уголовников амнистируем, а вот талантливых людей, оставивших в истории свой след, амнистировать боимся. Почему?

ВО ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОМ СЕЛЕНИИ КУБАЧИ

— Еще одна проблема гложет меня. Судьба золотого и серебряного дела в Дагестане. Всего четыре мастера осталось. (Среди них М. Джамалудинов — уникальный талант, подвижник, настоящий творец.) А там конце, некому перенять секреты уникального народного промысла в республике. Сейчас мастер — как поэдиноличник. Индивидуальное хозяйство поэта — его душа. И у златокузнеца так же. На весь мир известен дамаский кинжал. У нас не хуже — амузгинский. Клинками, изготовленными в Амузгине, пользовались полководцы, маршалы, сам Шамиль. Но вот аул переселили, и исчезли мастера. Да и аул сам исчезает, двести семьдесят остается. А мастера эти были в свое время такие же прославленные, как кубачинские. Сегодня уникальные поделки кубачинцев, гоцатлинцев находятся только в музеях. Ленин называл дагестанских художников великими. Как же вышло, что в Дагестане не оценили этих мастеров? Приезжают туристы из-за рубежа, восхищаются, смотрят, ищут редкостные изделия. А мы к ним, можно сказать, равнодушны. Почему? По какому праву прервали нить времени? Это всеобщего значения вопрос, всемирного значения. Горький писал Сулейману Стальскому: «Пусть вас бережет народ». Это был завет. Но он не всегда выполняется. Сегодня наши народные мастера — это не художники, с горькой усмешкой говорю я, потому что работают они для плана, стаканчики делают, роги. А скажите, как запланировать любовь? А мастерство? Иногда Министерство культуры заключает с мастерами договор. Все заказы отражают современный стиль. В плохом смысле. Потому что и современный стиль бывает хорошим. Со слезами я слышу стоны мастеров: «Мы умрем, нас не жалко уже никому, но нам некому передать свое искусство...»



НА КВАРТИРЕ, СРЕДИ «ОСТРОВА ЖЕНЩИН»

— Есть у меня такая книга «Остров женщин». Один я среди них и в своем доме: жена, дочери, внуки, сестра. Много написал я о любви, о девичьей гордости, о счастье матери. Считаю так: раньше женщина в чадре ходила, а поэзия была открытая, а сейчас женщина открытая, поэзия — в чадре. Новое стихотворение о женщине, насквозь людей видящей, написал я недавно. Хочешь, прочитаю?

ВАНГА

С экстрасенсом высшего
ранга,
Из таких, что видят
насквозь,
С прозорливой, чье имя —
Ванга,
Повидаться мне довелось.
Я давно был о ней
наслышан:
Из болгарской дальней
земли
Похвалы ее званьям высшим
И до нас, в Дагестан,
дошли.
Говорили: «Ванга чуть
тронет,
Да не тронет — глянет едва,
И пред нею, как на ладони,
Чем чужая душа жива».

Не терпелось мне — лгать
не стану! —
Себе цену узнать всерьез...
И подарок из Дагестана
Прозорливице я привез.

Подал старенькой для опоры,
Чтоб удобней было в пути,
Трость кизилую в узорах,
Лучше посоха не найти!

На коре — где мягче, где
резче —
Шло как будто сплетенье
жил;
Может статься, искусный
резчик
Смысл какой-то в узор
вложили..

Ванга тронула осторожно
Палку чуткой своей рукой,
Оперлась... («Надежно-надежно!»)
С тростью сделала шаг-

другой...
И пошла шептать мало-помалу,
С кем я рос и учился где,
Так, как будто век вековала
Между кумушками в Чаде...

Показала мне, как
на блюде,
Все, что явно или тайком
Написали добрые люди
На меня в мой родной
обком...
Может, знала она соседа,
Что дружил со мной много
лет?...
Но, однако ж, к концу беседы
Понял я: ни при чем сосед!

...— Твой отец давно на
погосте.
Мать позднее призвал аллах.
Спят они, но сжимают
трости —
Вот такие ж трости
в руках.

Спят, не зная забот и злобы,
Но как только к ним сын
придет,
Сразу трости поднимут оба
И безжалостно пустят в ход!

...На меня обрушат?! За
что же?
Чем прогневал я дорогих?
Ну, грешил, когда был
моложе,
Но теперь я скромнее и тих!
— Ой ли? Трость говорит
иначе.
Здесь, в узорах — все
существо!
Знаешь, кто ты? Ты вор,
растратчик
Сил и времени своего!

Свежей, юной души горенье
Ты бездумно пустил
враспыл!
На бесплодные словопренье
Золотое время убил!
«Что?» Стихи?.. Но все ль
пригодится
Любям в новые времена?
Слишком много ты пил
водицы,
Что кораном воспрещена!

Вот они — твои дни и ночи!
Все начертано на коре.
Сберегал ли ты дом свой
отчий?
Помогал ли щедро сестре?
С трудной правдой всегда
ль шел в ногу?
Был порой уклончив твой
стих.

Оттого и томит тревога
За тебя стариков твоих!

Ты дружил... Но с кем?
С кем попало!
Ты любил... Я молчать
должна:
Называть их всех не
пристало,
Все же рядом сидит
жена!..

Слушал я, смирясь поневоле,
Ядовитые эти слова.
Было мне обидно,
тем боле,
Что вещунья была права.
Не сорвалось ни капли
фальши
С уст ее, ни словечка лжи...
Как же быть мне?

Как жить мне дальше?
Ванга мудрая, подскажи!
Неужели опять без счета
Колесить, свою жизнь губя,
На чужбине искать чего-то,
Потеряв самого себя?..
А когда замолчу однажды
Я — как все мы тут —
временный гость,—
Ждут меня родители,
каждый
Наготове держа трость.

ПО ДОРОГЕ В ТЕАТР НА ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 110-ЛЕТИЮ ГАМЗАТА ЦАДАСЫ

— Меня тревожит массовость в искусстве, в литературе. Ведь искусство не спорт. Одних писателей сейчас чуть ли не одиннадцать тысяч. На писательских съездах, стыдно было участвовать в этом, самый большой спор разгорался не по какой-то важной творческой или государственной проблеме. Нет, во время голосования, вокруг кандидатур. Но если по высокому счету подходить, разве имеет значение та или иная кандидатура? Значение имеет только одно — талант. Как часто у нас случается: сначала мы раздуваем авторитет, а потом начинаем его поносить. Разве можно так подходить к духовным ценностям: то белым мажем, то черным? И наоборот. Как разобраться в этих метаморфозах поколений молодых читателей? О наградах и званиях... Я народный поэт. Но я не хочу, чтобы меня народным называли. Твардовского не называют, Маяковского не называют, Блока не называют, Пушкина не называют. А почему в России нет звания народного поэта? Во Франции, в Италии? В нашей Грузии, наконец! Если хочет народ, сам назовет. Ведь в слове «поэт» большая обязанность, ответственность, но не звание, не должность.

До какого бюрократизма мы докатились: по телефонным звонкам запрещаем спектакли, песни, по телефонным звонкам даже звания присваивают. Один чиновник звонит другому, и, не глядя друг другу в глаза, решают серьезные творческие, общественно значимые, а бы сказал, народные дела. А хочется открытых обсуждений, серьезности подхода к судьбам поэтов, художников.

Хоть мы критически оглядываемся назад, но я с удовлетворением вспоминаю прошлые дни литературы, широкие обсуждения литературных произведений. Какими демократическими были отношения друг с другом в годы моей молодости! Когда писатель писателю был ровесник и земляк. Фадеева я видел много-много раз, но поначалу все стеснялся подходить к нему, скромность мешала. Но зато он был простым в отношениях с молодыми людьми, сам приходил в Центральный Дом литераторов, не считал для себя зазорным. Иные же нынешние руководители считают ниже своего достоинства посидеть рядом с начинающими.

Думается мне, нам надо самокритично подходить к своим поступкам в прошлом и соотносить их с общественным поведением сегодня.

Я тоже ошибался. Но и у меня временем много украдено. Самобичеванием я не призываю заниматься, но храбрецы на час нам не нужны. Как пышно, приторно отмечался юбилей пятидесятилетия Союза писателей! Какие юбилейные дифирамбы пелись! Складывалось впечатление, что без одного-двух человек всей литературы не было бы вообще.

Сейчас поэму напечатать тяжелее, чем раньше. Сейчас редакторы считают, что больше 500 строк в поэме не может быть. Кто им дал такое право? Если бы так было, Твардовский поэмы не печатал бы, Блок поэмы не печатал бы. Почему нельзя печатать хорошие поэмы? Тем более что многие из них — летопись революции. Ярослав Смеляков в журнале «Дружба народов» редактировал мою «Горянку», это четыре тысячи строк. Ее ведь напечатали. В «Литературной газете» Константин Симонов напечатал целиком мою поэму «Разговор с отцом». После этой публикации я получил от Фадеева письмо. Хорошее, доброе, доброжелательное письмо. Дело в том, что именно тогда у меня в нескольких местных журналах появились подборки стихов. А Фадеев, оказывается, за всем следил, потцовски внимателен он был к сво-

им товарищам, коллегам-литераторам. Меня это очень удивило — как подробно он разбирал мои публикации. Но в письме было главное. «Не слишком ли Вы торопитесь печатать?» — писал он. — «Надо торопиться работать, трудиться...» — был его совет.

«Не слишком ли торопитесь?» Я в вопросах приема не понимаю, но почему дело обстоит так, что дагестанского или якутского писателя сразу принимают в члены СП СССР? Пусть он сначала проявит свое лицо в родных местах, получит признание народа. Раньше писатели шли на бедность ради поэзии, а сейчас бедные сразу хотят быть богатыми через поэзию.

В Москве пятьсот поэтов. Это много. В Дагестане тоже надо ограничить количество членов Союза писателей. (Я думаю, что и в Якутии, в Осетии, в Бурятии, во всех республиках.) А то что получается: молодой человек выпустит две книги на родном языке, признание еще не получит, его мало кто знает и в других республиках, а уже он член Союза писателей СССР. Едет в Москву, говорит: я член СП СССР — и требует издания книги. Ему идут навстречу, и он уже диктует свои права.

Отношение к поэтам сейчас изменилось, чиновников стало много. Раньше Константин Симонов звонил или телеграмму давал, просил о чем-то. Это вдохновляло.

Поэзия — интимное понятие. Поэзия не парад, со стихами человек уединяется, хочет побыть наедине с собой. И со словом. А у нас в поэзии митинговая любовь и телефонные поцелуи.

Может быть, поэтому, когда на встречах с избирателями я говорю о перестройке, об искусстве, о поэзии, а меня спрашивают, когда завезут колбасу и когда будет водопровод. Понимаю их, своих избирателей, задача перестройки — дать людям и кусок хлеба, и честное, искреннее слово правды. Здесь надо уметь совмещать. И хлеб важен, и лира необходима. Без хлеба поэзия может, но хлеб без поэзии — увы...

В АЭРОПОРТУ КАСПИЙ — ПРИ ПРОЩАНИИ

— Сейчас я закончил книгу под названием «Концерт». Жизнь — концерт, мир — концерт, история — концерт. Здесь и скрипки, и рояль, и рок-музыка, и орган... Я помню, что в последний предвоенный день, в субботу 21 июня 1941 года, по радио был большой концерт. Песни, музыка, мажор... А на границах уже высаживались немецкие десанты. И начинался концерт войны, пляска смерти. По всей Европе рыли могилы и пели последние песни. Кодовое название одного из наших наступлений было «Концерт». Название книги можно принять за шутку, если бы не было настоящих, «живых» концертов в фашистских лагерях смерти, в колымских лагерях.

Современная жизнь порой мне кажется непрекращающимся концертом. Развеселым, трагическим, будничным, одурманивающим. Читал я как-то эту поэму в одной аудитории. И меня спросили: «Почему в ней нет концерта Пугачевой, рок-музыки?» Я не знал: то ли смеяться, то ли плакать?

Мне кажется иногда, что то ощущение нестабильности, эскапады перемен, та сменяемость эпох, личностей, которые творятся на наших глазах, — это тоже некий вселенский несмолкаемый концерт, действо с трагическими нотами. Труба, балалайка, орган... Одно возносится, другое — в пропасть.

Чем закончится этот великий концерт нашего бытия — знать бы!

На снимках: Расул Гамзатов с внучкой Мадиной, с отцом Гамзатом Цадасой.



ДИЗАЙН-ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ

Прошло уже тридцать лет, как с дипломом живописца я окончил Тбилисскую Академию художеств. Может показаться странным, что я не «заперся» в собственной мастерской, а поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии имени Джавахишвили. На всю жизнь я запомнил этнографические экспедиции по отдаленным, особенно по горным районам республики, где принимал участие в изучении древней народной культуры, быта, искусства, не отделимого от труда земледельца, животновода, охотника. В старинном, сложенном из камня доме найдешь немало предметов: очаг, люлька для ребенка, ступка, котел, глиняные миски и кружки, коврики, оружие, иногда лампада перед старой законченной иконой. Но как все гармонично, выразительно, как все связано с образом жизни сельского труженика, как перекликается с его костюмом и женскими украшениями!.. Этот быт складывался столетиями. Горцы не задумывались о художественном эффекте, но тем не менее творили свой мир также и по законам красоты.

Я невольно вспоминал этот удивительный мир простоты и красоты, свое прикосновение к нему, когда вслушивался в выступления делегатов и гостей недавнего учредительного съезда Союза дизайнеров СССР. И думал: за последние годы люди стали жить несравненно богаче, просторнее, быт все больше насыщается достижениями техники, электроникой, квартиры завалены нужными и ненужными вещами, но как редко эти вещи образуют художественное единство, как часто они не поют, а кричат фальшивыми и, увы, громкими голосами. Можно сказать шире: жизнь и быт меняются очень быстро, миллионы людей переместились из дальних деревень в города, в том числе в новые, не имеющие прочных культурных традиций. Происходят сложные социальные процессы перевоспитания огромных масс людей, их приспособление и «подстройка» к новым условиям, и эти процессы протекают небезболезненно. Сегодня уже очевидны не только достижения, но и потери. И мне кажется, что здесь советское искусство еще не сыграло ту воспитательную, возвышающую роль, о которой мечтали его первооткрыватели.

Говоря о необходимости гармонии и художественной целостности среды, я, конечно, не призываю ни к возвращению атмосферы крестьянского быта, ни тем более к сухой запрограммированности, однообразию, механистичности предметного мира, окружающего человека, к на-

рочитому лаконизму форм, который казался идеалом некоторым теоретикам 50—60-х годов. У меня нет готовых рецептов, да я и не верю в реальность некоторых прогнозов. Я убежден, что среда будущего должна быть богатой идеями, формами, ассоциациями, разнообразной, возможно, совмещающей разные этнокультурные и стилевые истоки. Она может включать в себя произведения разных времен и народов, но она не имеет права опускаться до мешанства, против которого предостерегал В. И. Ленин. Качество предметов потребления, их вкусовые характеристики должны быть безупречны. Они должны быть абсолютно современными и в то же время опираться на многовековой опыт народного искусства, сохраняя приметы местного и национального.

И вот здесь, по-моему, отнюдь не принимая роли архитектуры, для которой я работаю уже четверть века, и любимого мною изобразительного искусства, можно утверждать, что особая роль принадлежит дизайну, не только объединяющему и одухотворяющему предметный мир, но непосредственно его создающему.

Я не модельер, но мне, художнику, больно слышать, когда в телевизионных интервью молодые люди заявляют, что не верят в возможность красиво и модно одеться в наряды, выпускаемые советской промышленностью, и потому предпочитают заграничные вещи, хотя они дороги и их трудно достать. И пока, к сожалению, это правда.

Нужно понять, что достойное, действительно ведущее, место художника на производстве не его претензия и не прихоть, а острая социальная необходимость, не всеми пока понятая закономерность сегодняшнего момента, неизбежный и важный элемент перестройки. Дизайнер не «оформляет» предмет, а непосредственно участвует в повышении его функциональных, потребительских качеств. В центральной печати обильно писали о недостатках в оплате труда дизайнеров. Естественно, она должна быть оплатой художественного произведения, а не заработной платы работника конструкторского отдела.

Вопрос не в том, что дизайнер получает меньше, чем заслуживает, а в необходимости поиска новых форм его взаимоотношений с проектированием и промышленностью. Я представляю себе организацию пользующихся правами юридического лица кооперативов дизайнеров, заключающих договоры с производственными объединениями и проектными институтами и принимающих на себя всю полноту ответственности за свою продукцию, осуществляя одновременно контроль за ее внедрением и распространением. Но это возможно, конечно, только при понимании заказчи-

ками важности и характера задач дизайнера (и их собственных!).

Но еще важнее — внедрение дизайнерских разработок именно как художественной продукции, при разном оригиналу является первейшим требованием. Заметим, что здесь требования дизайнеров полностью совпадают с запросами торговли. Дизайнер должен не просто, как часто пишут, «знать требования технологии», он должен иметь право ориентироваться в своем проекте на высший технический уровень производства. На пути от утвержденного торговлей образца к массовому производству не должны допускаться изменения материала, фактуры, цвета, технологии. Я понимаю, что некоторым хозяйственным работникам подобные требования кажутся лишней обузой, но без этого им не добиться успехов не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Много лет, повторяю, работая рука об руку с архитекторами, я вижу, к каким трагическим результатам привело пренебрежение художественной выразительностью зданий и комплексов — к бедности пластика, цвета, силуэта, благоустройства. Привело не архитектуру как профессию, а жизненную среду наших городов. Ее однообразие, скука, потеря городом своеобразия и неожиданности тоже в какой-то мере повинны в антисоциальном поведении некоторых горожан, особенно подростков и молодежи. Дело не только в недостатке помещений для общения и творческой деятельности, но и в многократной повторяемости жилых корпусов, школ, детских площадок, плоских фасадов и одинаковых разрывов между ними. А глаз, пылливый глаз молодого человека требует впечатлений разных, по возможности новых, да и руки ждут творческого дела... А тут все, хотя и плохое, но готовое, и административная инспекция пресекает любое «нарушение проекта».

Я сам занимаюсь разными видами дизайна с первых лет своей работы. В процессе оформления гостиниц, посольств, курортных комплексов, административных зданий, санаториев, выставок я разрабатывал интерьеры, начиная с определения их функционального назначения, выполнял в металле дверные ручки и даже пепельницы, проектировал светильники, рисовал эскизы костюмов официанток и швейцаров. Естественно, в эти комплексы я включал и чисто художественные работы: панно, витражи, мелкую пластику.

С особым вниманием я работаю над художественным обликом моего родного города Тбилиси: продумываю размещение и характер смысловых пластических акцентов — ориентирую на въездах в город, активных красочных «пятен» на улицах и в интерьерах крупных общественных зда-

Искусство народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Зураба Церетели давно получило широкое признание. Его знаменитые мозаичные композиции украшают многие города нашей страны. Хорошо известно творчество художника и за рубежом — в США, Японии, Бразилии, Франции... В каком бы жанре изобразительного искусства Церетели ни работал — а им создано множество монументов, скульптур, картин, огромных рельефов, эмалей, витражей, графических листов, — его произведения всегда отличаются удивительной цельностью, неистощимой выдумкой, яркой индивидуальностью мастера. Все, что окружает человека, считает Зураб Константинович, должно быть искусством. Художник создает среду, в которой живут люди. И эта среда должна быть прекрасна.

Недавно Церетели был избран председателем правления Союза дизайнеров Грузии. Сегодня мы предлагаем читателю познакомиться с живописными работами художника и публикуем его размышления о современном дизайне.

ний, разрабатываю проекты благоустройства и оформления парков и скверов, установки малых архитектурных форм.

«Городской дизайн» — пока слабое место в нашей практике. И вообще в городе мал объем визуальной информации: не хватает содержательных, броских и, главное, красивых указателей, рекламных щитов и тумб, дорожных знаков, осветительных мачт и светильников, газетных и справочных стендов. Это важная техническая, градостроительная и психологическая проблема, но решить ее можно только, если она будет понята как художественная. Город, как мой Тбилиси, должен бережно сохранять свое исторически сложившееся лицо, свой национальный характер, но он не может жить и без нового строительства, без нового дизайна. Он должен быть понятен и близок жителям всех национальностей, гостям из других союзных республик и из-за рубежа — и это еще одна важная и трудная задача для дизайнеров.

Недавно я с моими товарищами разработал универсальный набор элементов для детских игровых комплексов и на его основе — проект детского парка «Страна чудес» в Нижних Мневниках. Образованные с помощью различных сочетаний этих элементов конструкции позволяют не только развлечь детей, сделать их отдых интересным, но и развить их инициативу и интеллект, творческие, конструкторские способности. В нашем наборе не так много деталей, но они должны быть яркими, красочными, пластичными, оригинальными. Они должны легко и прочно соединяться друг с другом и столь же просто разбираться, хорошо мыться, не ломаться от прикосновения детских рук (и ног). Здесь решалась чисто дизайнерская задача, органическое сочетание массового, стандартного, технологического и уникального.

Мы ставим перед промышленностью непростую задачу изготовления этих элементов, но воспитание детей — слишком серьезное дело для того, чтобы ведомственные интересы и производственные трудности ставили выше него.

Мир дизайна представляется почти безбрежным, но в действительности он имеет определенную, конкретную специфику. Это прежде всего художественное — по целевой установке и по методу — конструирование. И его задачи могут быть полноценно решены только на высоком художественном уровне, настоящими большими художниками. Хочется надеяться, что Союз дизайнеров найдет рациональные формы взаимодействия с союзами художников и архитекторов, обеспечения необходимых условий труда и повышения квалификации дизайнеров, станет их подлинным творческим и профессионально-организующим центром.



З. К. ЦЕРЕТЕЛИ. Род. 1934. КИНТО. 1985.



АРБА. 1986.



ОТДЫХ. 1986.



ПОРТРЕТ
СКУЛЬПТОРА
АЛЕКСАНДРА
РАТИАНИ. 1986.

Борис КОРНИЛОВ

1907—1938

Яркий представитель второго
комсомольского поколения,
не участвовавшего в гражданской войне,
но сохранившего ее романтику.
Стих Корнилова крепок, размашист, задорист,
полон мечты о жировой революции.
На первом съезде писателей выдвигался
как наиболее талантливый молодой поэт.
Погиб в результате необоснованных репрессий.
В «Библиотеке поэта» издан однотомник
Корнилова — свидетельство признания его
яркого дарования.



КАЧКА НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы
от Баку
до Махач-Калы.

Мы теперь не поем, не спорим —
мы водою увлечены;
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.

А потом —
затишают воды —
ночь каспийская,
мертвая зыбь;
знамену красу природы,
звезды высыпали, как сыпь;
от Махач-Калы
до Баку
луны плавают на боку.

Я стою себе, успокоясь,
я насмешливо щурю глаз —
мне Каспийское море по пояс,
нипочем...
Уверяю вас.

Нас не так на земле качало,
нас мотало кругом во мгле —
качка в море берет начало,
а бесчинствует на земле.
Нас качало в казацких седлах,
только стыла по жилам кровь,
мы любили девчонок подлых —
нас укачивала любовь.

Водка, что ли, еще?
И водка —
спирт горячий,
зеленый,
злой;
нас качало в пирушках вот как —
с боку на бок
и с ног долой...

Только звезды летят картечью,
говорят мне...
— Иди, усни...
Дом, качаясь, идет навстречу,
сам качаешься, черт возьми...

Стынет соль
девятого пота
на протравленной коже спины,
и качает меня работа
лучше спирта
и лучше войны.

Что мне море?
Какое дело
мне до этой
зеленой беды?

Соль тяжелого, сбитого тела
солонее морской воды.

Что мне (спрашиваю я), если
наши зубы
как пена белы —
и качаются наши песни
от Баку
до Махач-Калы.

1930

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Я нюхал казарму, я знаю устав,
я жизнь проживу по уставу:
учусь ли, стою ль на посту у застав —
везде подчинен комсоставу.

Горит надо мною штыка острие,
военная дует погода,—
тогда непосредственное мое
начальство — товарищ комзвода.

И я, поднимаясь над уймой забот,
я — взятый в работу крутую —
к тебе заявляюсь, товарищ комзвод,
тебе обо всем рапортую.

И, помня показ обстоятельный твой,
я верен, как пули комочек,
я снова в работе, боец рядовой,
товарищ, поэт, пулеметчик.

Я знаю себя и походку свою,
я молод, настойчив, не робок,
и если погибну, погибну в бою
с тобою, комзвода, бок о бок.

Восходит сияние летнего дня,
хорошую красит погоду,
и только не видно тебя и меня,
товарищей наших по взводу.

Мы в мягкую землю ушли головой,
нас тьма окружает глухая,
мы тонкой во тьме прорастаем
травой,
качаясь и благоухая.

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА

ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Зеленое, скучное небытие,
хотя бы кровинкою брызни,
достоинство наше — твоё и моё —
в другом продолжении жизни.

Все так же качаются струи огня,
военная дует погода,
и вывел на битву другого меня
другой осторожный комзвода.

За ними встревожена наша страна,
где наши поля и заводы:
затронута черным и смрадным она
дыханьем военной погоды.

Что кровно и мне и тебе дорого,
сиреной приглушенно воя,
громоздкую силой идет на врага
по правилам тактики боя.

Врага окружая огнем и кольцом,
медлительны танки, как слизи,
идут коммунисты, немея лицом,—
мое продолжение жизни.

Я вижу такое уже наяву,
хотя моя участь иная,—
выходят бойцы, приминая траву,
меня сапогом приминая.

Но я поднимаюсь и снова расту,
темнею от моря до моря.
Я вижу земную мою красоту
без битвы, без крови, без горя.

Я вижу вдали горизонты земли —
комбайны, качаясь по краю,
ко мне, задыхаясь, идут...
Подожли.
Тогда я совсем умираю.

1932

ЯЩИК МОЕГО ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

В. Стеничу

Я из ряда вон выходящих
сочинений не сочиню,
я запрячу в далекий ящик
то, чего не предаю огню.

И, покрытые пыльным смрадом,
потемневшие до костей,
как покойники, лягут рядом
клочья мягкие повестей.

Вы заглянете в стол.
И вдруг вы
отшатнетесь —
тоска и страх:
как могильные черви, буквы
извиваются на листах.

Муха дохлая — кверху лапки,
слюдяные крылья в пыли.
А вот в этой багровой папке
стихотворные думы легли.

Слушай —
и дребезжанье лиры
донесется через года
про любовные сувениры,
про январские холода,
про звенящую сталь Турксиба
и «Путиловца» жирный дым,
о моем комсомоле — ибо
я когда-то был молодым.

Осторожно,
рукой не трогай —
расползется бумага. Тут
все о девушке босоногой —
я забыл, как ее зовут.

И качаюсь, большой, как тень, я,
удаляюсь в края тишины,
на халате моем сплетенья
и цветы изображены.

И какого дьявола ради,
одуревший от пустоты,
я разглядываю тетради
и раскладываю листы?

Но наполнено сердце спесью,
и в зрачках моих торжество,
потому что я слышу песню
сочинения моего.

Вот летит она, молодая,
а какое горло у ней!
Запевают ее, сядя
с маху конники на коней.

Я сижу над столом разрытым,
песня наземь идет с высот,
и подкованным бьет копытом,
и железо в зубах несет.

И дрожу от озноба весь я —
радость мне потому дана,
что из этого ящика песня
в люди выбилась хоть одна.

И сижу я — копаю ящик,
и ушла моя пустота.
Нет ли в нем каких завалящих,
но таких же хороших, как та?

1933



«КАРЛСОН» И МАХОЛЕТЫ

Смешными они были, те самые первые аэропланы. Немыслимые конструкции из реечек, дощечек, растяжек и полотна, снабженные постоянно чихающими и отрывающимися моторами. Но прогресс шел стремительно, и уже в начале двадцатых годов появились летательные аппараты с закрытыми кабинами. В конце концов полеты на лайнерах превратились в обычное, совершенно необременительное дело. Сядешь, скажем, в Москве в комфортабельный аэробус, а через три с небольшим часа выходишь в Ташкенте. Но сервис в воздухе отодвинул куда-то ощущение самого полета, то, о чем так долго мечтал человек. Картинки за иллюминатором напоминают изображение на экране цветного телевизора, пассажирский салон — зал кинотеатра. А ведь так хочется летать! Именно поэтому в последние годы у нас в стране, как, впрочем, и везде в мире, стремительно развивается самостоятельное авиаконструирование.

...Это было четыре года назад. На длинной и плоской горе Клементьева неподалеку от крымского поселка Планерское собрался весь цвет советской авиации. За шестьдесят лет до этого два друга-художника, поэт Максимилиан Волошин и летчик Константин Арцеулов, прогуливались у подножия холма, который тогда еще назывался Узун-Сыртом. Они размышляли о будущем отечественной авиации, о том, как сделать ее массовой, где открыть планерную общедоступную школу. Внезапно налетевший поток воздуха сорвал у летчика шляпу, подбросил ее вверх. И шляпа... не упала назад! Набегающие с моря потоки воздуха держали ее, покачивая, на высоте. Так было открыто место, самой природой предназначенное для полетов на планерах.

Уже в 1923 году там состоялись первые планерные испытания. С каждым годом слеты и соревнования энтузиастов авиации становились все представительнее. Здесь испытывались оригинальные конструкции и ставились мировые рекорды, здесь рождались необычные идеи и зарождалась слава советской авиации. Достаточно назвать лишь несколько имен, стартовавших отсюда в историю. Это С. В. Ильюшин и С. П. Королев, М. К. Тихонравов и О. К. Антонов, А. С. Яковлев, И. И. Шелест, С. Н. Анохин...

Праздник на горе Клементьева, названной так в честь погибшего на ней планериста, шел своим чередом. В небе кувыркались самолеты, чинно хороводились планеры, распускались разноцветные грибки парашютов, и мало кто заметил с десятка необычных аппаратов, скромно приютивших-

ся по ту сторону аэродромного забора. Между тем в то сентябрьское утро в Крыму рождалась, а точнее, возрождалась прекрасная традиция. Сюда на первую общесоюзную встречу собрались энтузиасты самостоятельного авиаконструирования. И первым, кто их приметил и поддержал, был генеральный конструктор авиационной техники Олег Константинович Антонов.

Со стороны это, конечно, выглядело необычно. Опершись на крыло самодельного планера, академик беседовал с матросом-спасателем из Каунаса Чеславом Кешонасом. Разговор шел на равных — собеседники сыпали формулами и сложнейшими техническими понятиями, рисовали на листках умопомрачительные графики, обсуждали вопросы материаловедения и таинства аэродинамики.

В конце концов Олег Константинович сказал: «А знаете, Чеслав Александрович, на этом вашем учебном мотоплане я бы и сам слетал, да вот здоровье... Но буду советовать начать его производство на заводе».

Забегая вперед, отметим, что двадцать вторая по счету конструкция знаменитого строителя планеров и самолетов из Литвы действительно была рекомендована к серийному производству на заводе ДОСААФ в литовском городе Пренае. Планер «Гарнис», сконструированный Кешонасом, при абсолютной надежности необычайно легок в управлении, он сам просится летать и как никакой другой пригоден для первоначального обучения.

Итак, всего один самостоятельный конструктор построил более двух десятков летательных аппаратов. А сколько же их всего? Специалисты совета содействия научно-техническому творчеству, образованного при Министерстве авиационной промышленности, подсчитали: на данный момент у нас в стране создано свыше двух с половиной тысяч (!) летающих самолетов, планеров, мотопланеров, вертолетов, автожиров и других аппаратов. В это число не входит огромное количество дельтапланов и мотодельтапланов. Вокруг этих аппаратов образовались кружки и самостоятельные КБ, насчитывающие несколько десятков тысяч членов — целая армия энтузиастов, резерв большой авиации.

До 1983 года они, по сути, были предоставлены сами себе. У них не было ни своей организации, ни возможности где-то встречаться, чтобы

обменяться опытом, поговорить о проблемах. И лишь поддержка дальновидных представителей авиапромышленности стала на первых порах опорой «самодельщикам». Но уже осенью памятного 1985 года положение резко изменилось. Забота о научно-техническом творчестве была поставлена на государственный уровень, и третий всесоюзный слет конструкторов СЛА — сверхлегких летательных аппаратов, — который прошел в Киеве, полностью подтвердил это. В столицу Украины самолетами доставили около ста аппаратов со всех концов страны. Многодневный слет вылился в подлинный фестиваль авиации.

И вот Москва, четвертый смотр-конкурс СЛА. Он проходил на знаменитом аэродроме в Тушине, месте проведения авиационных праздников и парадов. Каких только конструкций здесь не было! Мы осматривали машины вместе с заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем Советского Союза Владимиром Сергеевичем Ильюшиным.

— Признаться, я бы сам с удовольствием полетал сегодня, — сказал В. С. Ильюшин. — Но — увы! — порядок есть порядок. Сегодня летают только те летчики, кто назначен для испытания этих необычных конструкций. Из того, что мы сегодня видели, мне больше всего понравились микросамолеты из Кумертау и Москвы. Первый из них, созданный несколькими энтузиастами малогабаритный биплан, по отзывам летчиков, держится в воздухе как на ровной дороге. А конструкция московского экспериментального молодежного КБ, самолет «Октябрь» М-5-1, можно назвать воздушным велосипедом. Он поднимает двух человек или пилота с грузом, уверенно держится в воздухе, необычайно прост в управлении и очень надежен. Я бы сам хотел иметь такой аппарат!

А тем временем в небе над Тушином шли полеты, ежедневно по несколько десятков. Посмотреть было на что. Необычайный двухкилевой биплан из Ленинградской области, названный конструкторами «Тройка», покорял своей солидностью. Двухместный «Егорыч», созданный в профтехучилище города Жуковского, похожий на воздушное такси, был способен летать даже на одном из двух моторов. Своим ходом прилетел в Тушино из Подмосковья, преодолев сто пятьдесят километров, самолет, сконструированный в столичном общественном объединении «Коммунар».

Были на слете и курьезы. Среди них параплан, парашют с моторчиком. Его представил конструктор из Красноярска Анатолий Антипов. Он надел на себя ранец с двигателем от бензосучкорезки, снабженным винтом, затем парашют. Рывок заводного шнура, купол парашюта наполняется воздухом, и пилот поднимается в небо. «Карлсон», так назвал свое детище конструктор, может летать со скоростью до пятидесяти километров в час.

А из города Саранска прибыл... махолет. Вообще-то все знают, что такой аппарат летать не может, но его конструкторы придерживаются своего собственного мнения. Восьмикрылое их творение уже умеет бегать по взлетной полосе, размахивая крыльями, как стрекоза, но вот оторваться от нее пока не в состоянии.

Сергей ДЕРБЕНЕВ.

На последней странице обложки фото Алексея Дитякина.



ДЧЕРИЦЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Юрий ОСИПОВ,
Александр МИХАЙЛОВСКИЙ,
Павел КРИВЦОВ (фото),
специальные корреспонденты «Огонька»

Москва — точный индикатор экономической жизни нашего общества и вместе с тем — пример диспропорций в развитии промышленности, транспорта, сферы обслуживания, социальных условий жизни горожан.

Нерешенных проблем пока еще много, и «Огонек» писал о них не раз. Несмотря на то, что город идет со значительным «перевыполнением плана» роста населения, он остро ощущает нехватку рабочих рук. Где выход?

«По крайней мере не в привлечении рабочей силы по лимиту, — уверенно заявляет директор НИИ труда доктор экономических наук Евгений Григорьевич Антосенков. — Он отнюдь не панацея.

Болезнь долгое время загоняли вглубь. А, как известно, оттяжки с лечением социально-экономических недугов обходятся потом на миллиарды рублей дороже. Возьмите хотя бы огромное скопище московских общежитий, превратившихся из временного жилья в постоянное.

Особенно страдают женщины...»

ОДНА ИЗ НИХ

Сотчимом Таня не ладила, и сколько себя помнит, рвалась уехать из дома. С металлургическим институтом, где училась, кстати, прилично, тоже не чувствовала родства. И когда подруга написала из Москвы, что у них на прядильной фабрике открыт лимит, Таня, не мешкая, собралась в дорогу.

Четверо суток пути тянулись бесконечно долго. Сквозь дрему она все гадала, как встретит ее столица. «Познакомлюсь с интересными людьми, пойду снова учиться»...

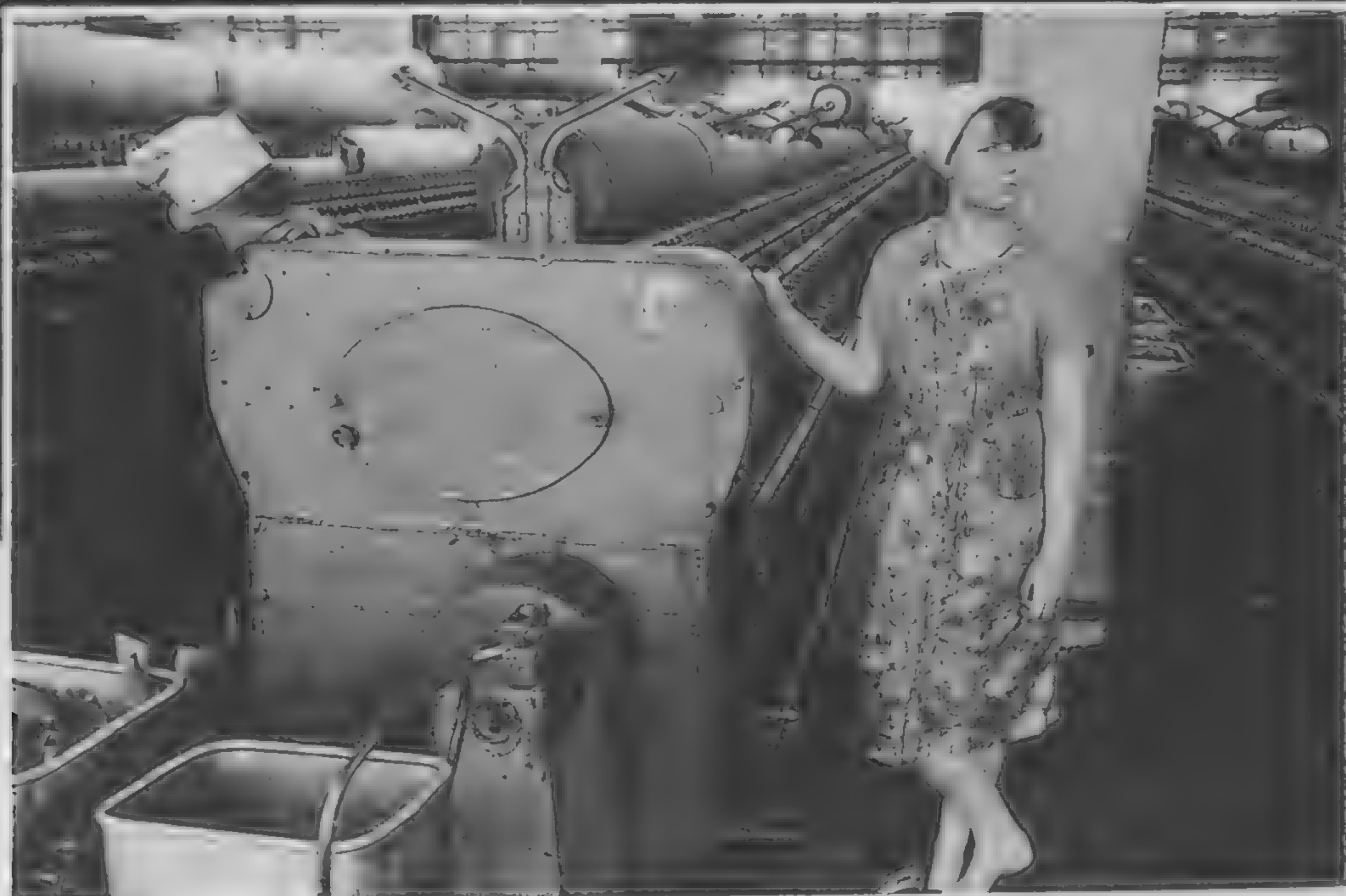
Ее приняли мотальщицей, койку в общежитии дали, прописку обещали. Через год-два. Освоилась, завела на фабрике подруг. Начала встречаться с неплохим вроде бы парнем. Подруги завидовали: москвич, с квартирой! Выйдешь замуж, заживешь своим домом! А потом узнала: разведенный и жениться не торопится.

КОММЕНТАРИЙ № 1

Действительно, рассчитывать Тане было особенно не на что. Бесстрастная статистика свидетельствует: в Москве при довольно высоком уровне разводов сокращается количество повторных браков. Ежегодно по причине разводов более 30 тысяч московских детей в возрасте до 16 лет остаются без одного из родителей. Среди одиноких людей, составляющих около восьми процентов населения Москвы, преобладают женщины. Все это влияет на снижение рождаемости и естественного воспроизводства трудоспособного населения. Выходит, лимит как будто бы необходим, по крайней мере оправдан.

Год пролетел незаметно. Затем Таню пригласили в отдел кадров:

— Извините, лимит фабрике урезан. Подыщите себе другое место...





Так она стала мыть посуду в доме для престарелых. Вторую посудомойку, москвичку Любу, направили сюда после лечебно-трудового профилактория. Временами наедине с горой грязной посуды девушку охватывало отчаяние: начинало казаться, что ей уже не выбраться из этого подвала с мисками, вилками, стаканами. Набравшись духу, попросила перевести ее санитаркой на этаж.

— В универмаге, у метро, привезли французские духи,— многозначительно сообщила главврач.

— Я не пользуюсь импортными,— не поняла Таня.

— Дело хозяйское,— пожала в ответ плечами ее начальница.

— Бестолочь ты,— так оценила разговор с главврачом Люба,— деревенщина, одно слово, лимита! Неужели не сообразила: чтобы с этажа на этаж перейти, и то требуются подъемные. Сидеть тебе в подвале вечно. И прописка не светит.

Так оно и получилось. Работать ей пока разрешили, но койку в общежитии приказали освободить. Таня поселилась на частной. Хозяин квартиры Анатолий Васильевич рисовал афиши в клубе, говорил о себе как о непризнанном гении, но «талантливо» только напивался.

— Отмусоль!— кричал он Тане, требуя денег вперед.— Я здесь хозяин. Захочу — вытурю тебя к чертям.

Или заводил иной разговор:



На работе и «дома».

— Выходи за меня замуж. Я тебя пропишу... Однажды в дом престарелых забежала врач из соседней больницы и сказала, что срочно нужна кровь. Первая группа — редкая.

Кровь переливали напрямую. Тане чудилось, будто с лица человека, подключенного к ее вене, уходит синюшность и он на глазах оживает. Стала посещать «переливашку» регулярно.

— Иди к нам кастеляншей,— позвали в больнице.— Общежитие дадим, прописку.

Теперь Таня принимала грязное белье, возила контейнеры через весь город в банно-прачечный комбинат на Каширском шоссе. Домой возвращалась не раньше восьми. Хотелось тишины, а за стеной гремела музыка: соседки веселились. Зажав уши руками, она садилась за учебники, готовилась поступать в медучилище. Каждый день ругала себя, зачем бросила институт, соблазнилась Москвой.

...С Андреем Таня познакомилась не совсем обычно. Вахтеры в общежитии строгие, гостей пускают с разбором и в десять вечера требуют удалиться. Как-то к Тане в окно постучали. Она удивилась: комната на втором этаже. Выглянув, увидела, что к водосточной трубе приклеился парень...

КОММЕНТАРИЙ № 2

Тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева — старейшее предприятие Москвы (в будущем году отметит свое 150-летие). 3 миллиона погонных метров ткани в год, часть продукции экспортная. Работа круглосуточная, оборудование изношенное, вентиляция маломощная. Понятно, что иных москвичей сюда калачом не заманишь. Из двух тысяч работающих более 90 процентов набраны по лимиту, в основном молодые женщины. Им здесь живется лучше, чем на других предприятиях. Недавно построено новое современное общежитие на 520 мест, клуб просторный, дети обеспечены яслями и детсадом. На продуктовые заказы тоже не жалуются. Казалось бы, лимитчикам остается только благодарить администрацию за заботу. Но вот какое письмо прислали работницы фабрики на имя Валентины Владимировны Терешковой:

«...Обращаемся к Вам за помощью. Нам заявили, чтобы мужья в общежитии на Онежской, 5, больше не проживали. На вопрос, как же теперь быть, разводиться? — ответил директор, что это администрацию не касается, и не надо, мол, выходить замуж, пока не получишь жилье. А комнату «за выездом» можно получить в лучшем случае через десять лет. В таком возрасте трудно завести семью. Незамужние у нас теперь даже боятся слова «замуж» — очень просто можно лишиться не только места в общежитии, но и московской прописки временной, которую возьмут да и не продлят вместе с договором по истечении срока...

Выгнав мужа на ночь, редко какая женщина не будет волноваться, куда он пошел. После 23 часов вахтеры устраивают проверки и ловят мужей. Не только дети, но и сами пугаемся этих звонков. Помогите, пожалуйста!»

Таково положение там, где администрация в принципе заботится о своих работниках. А что тогда говорить о других фабричных общежитиях Москвы, снискавших печальную известность?

— ...Здравствуйтесь. Парень, впрочем, не делал попытки проникнуть в комнату. — Я к Свете Балашовой.

— Света в четырнадцатой комнате, это на другой стороне. — И Таня, спохватившись, добавила: — Залезайте, залезайте, вы же упасть можете. Нежданный гость перебрался на подоконник, отряхнул пыль.

— Что это вы читаете? Есенин? Мой земляк. Хорошо у вас. Меня Андреем зовут.

— Вы к Свете шли, — напомнила Таня.

КОММЕНТАРИЙ № 3

Из выступления кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Московского городского комитета партии Б. Н. Ельцина на пленуме МГК КПСС 19 июля 1986 года:

«В угоду ведомственным, отраслевым интересам на протяжении трех последних пятилеток вместо того, чтобы заниматься автоматизацией и механизацией производства, раскручивался маховик наращивания рабочих мест, остановить который сейчас совсем непросто.

За 15 лет в Москву привлечено свыше 700 тысяч иногородних рабочих (только дополнительные затраты на это составили около 10 миллиардов рублей). Одновременно снижались темпы выбытия устаревших фондов, механизации ручного труда. Все это породило острые проблемы в социальной инфраструктуре. Такой подход, так сказать, «развратил» хозяйственных руководителей, что привело к снижению их усилий в ускорении научно-технического прогресса и преобразования рабочих мест, расшаталась трудовая дисциплина и общественный порядок, увеличилась текучесть кадров. Около 50 процентов от общего количества привлеченных в народное хозяйство Москвы покинули предприятия, на которые они принимались...

...В тот день Таня вернулась с работы позже обычного. Около дома стояла машина «Скорой помощи», вокруг толпились люди.

— Разбился сильно, непутевый. Балашова, это он к тебе лез, — сказала комендантша. — Трубу-то я с вашей стороны велела солидолом смазать, так он в обход пустился.

— Да я его и видела всего два раза, — дернула в ответ плечиком Света.

Таня разыскала Андрея в Институте Склифосовского, принесла томик любимого им Есенина и банку маминого варенья. И начала навещать его каждый день. Радовалась, когда Андрей встал на костыли, потом — когда впервые вышел в больничный двор с палочкой.

В конце лета они поженились. Им дали девяти-метровую комнату в семейном общежитии. Подоконник — вровень с тротуаром.

— Это не подвал, а цокольный этаж, — внушал Тане муж. — Дадут и квартиру. Я же экскаваторщик экстра-класса!

Татьяна Бутова окончила медучилище, работает фельдшером, у нее растет сын. О квартире, которую они с Андреем рано или поздно получат, эти двое имеют право сказать: «Заработали».

Хэппи-энд, история со счастливым концом. Увы, бывают и другие. Их, по правде говоря, значительно больше.

«ФЕЛИЧИТА, ФЕЛИЧИТА...»

В клубе текстильщиков на дискотеке в такт мерцанию разноцветных фонарей извивались и подпрыгивали, что-то напевая под оглушительную музыку, молодые парни и девушки. Подойдя к ним поближе, смогли разобрать слова:

«Феличита, Феличита!»

Пересчитай: тебя обманули на сорок копеек,

Ты — лимита...

Феличита, Феличита!»

У девушек румяна в полпальца толщиной, накладные ресницы, вокруг глаз страшноватые оранжевые тени, усыпанные золотистыми блестками. Пестрые брючки, блузки с фалдами спереди и сзади — все кричащих тонов. Растрепанные челки до глаз, а руки — натруженные, с короткими ноготками без лака. Руки рабочих. Жмутся друг к другу и поминутно, со смешками, переглядываются.

— Да, мы лимитчицы с ткацкой. В Москве год. Зачем приехали? А просто. Дома скучно, родители жить учат, а здесь люди, кафе. А потом мы не сами, позвали нас в столицу, на выручку к вам. Своих-то не хватает! В театре? Да, были в Театре киноактера. Что смотрели? Не помним, давно уже. Артистов знаем, особенно Валерия Леонтьева. Что читаем? Сейчас ничего, времени нет. Москва нравится, жить можно. Только в общежитии ребят не пускают. Тоска! Комендант злющая. Матери приезжали, обрыдались, пока ночевать позволила. Нет, домой не собираемся. На что надеемся? Замуж за москвичей выйти (смех)...

Впрочем, это первое, что приходит неопытным девчонкам в голову.

Кто же позвал их в столицу?

КОММЕНТАРИЙ № 4

Для приема лимитчиков создали много новых и, по сути, «паразитических» должностей, на которых служащие заняты информацией, рекламой, наймом, сопровождением и оформлением привлекаемой со стороны рабочей силы. Разумеется, легче было набирать «покорных лимитчиков», нежели улучшать условия труда, совершенствовать технологию, бороться с простоями и текучестью кадров. Например, до последнего времени на заводе пищевых принадлежностей имени Санки и Ванцетти работали на станках конца прошлого века.

Хозяева заводы заявляют, что без лимита московская промышленность давно бы остановилась. Так ли это?

Упомянутая уже фабрика имени Петра Алексеева две трети своей продукции вывозит в другие регионы, а между тем сырье (овец, как известно, в Москве не водится) и рабочую силу приходится почти полностью ввозить. Прежде сюда по лимиту ежегодно принимали до 150 человек, в нынешнем году через ПТУ — скрытую форму того же лимита — возьмут 60 работников. Руководство, поговаривают, собирается расширить производство. Возникает невольный вопрос: зачем столице вообще предприятия, для которых нет ни сырья, ни кадров? И не является ли расширение подобного производства в Москве антигосударственной практикой (не будем бояться резких слов), проводящейся в интересах отдельных ведомств? Во имя чего отрывать от родительского дома десятки тысяч юношей и девушек, увеличивать диспропорции, вносить хаос во многие сферы жизни?

КВАРТИРЫ РАДИ...

Однако будем откровенны и поставим вопрос иначе. Зачем они едут? И почему родители нередко сами толкают их на этот шаг?

Провинциальную молодежь манят огни большого города, где она ждет праздника, развлечения, интересных знакомств. Лимитчики приезжают устраивать свою жизнь. Было бы неверно искать во всех одержимость культурным ростом, учебой, стремлением стать квалифицированными специалистами. Хорошая зарплата, квартира в перспективе — вот, на наш взгляд, очевидный предел мечтаний большинства. Ну и, конечно, удачный брак (с москвичом или москвичкой, невзирая на обескураживающую статистику). Настрой откровенно потребительский. Между тем город сам начинает «потреблять» их, даже особенно не камуфлируя этого. Кадровики, не выбирая выражений, объясняют им, кто есть кто. В молодых неискушенных сердцах постепенно накапливаются горечь, обида, пусть даже необоснованные.

Вчерашние школьники зачастую перенимают жизненные установки своих старших товарищей, за-

ражаясь «городскими» пороками. Общежития лимитчиков находятся на особом контроле отделений милиции.

— Эти зоны постоянно требуют от нас повышенной бдительности, — рассказывает заместитель начальника Первомайского управления внутренних дел А. Попов. — Я мог бы привести немало всяких историй, вплоть до уголовных. Раньше в нашем районе за различные правонарушения, за появление на улице в нетрезвом виде и распитие в общежитии спиртных напитков ежегодно лишались прописки более 200 лимитчиков. С начала текущего года выслено пятьдесят четыре человека и тринадцать предупреждено. Милицеские меры и строгий режим в общежитиях способствуют наведению там относительного порядка...

«Относительный порядок», установленный формально-административными методами, неизбежно оборачивается оскудением личности, утратой ею гражданских начал и социальной активности, подспудным накоплением депрессии. Ведь хочется уйти и прийти, когда благорассудится, попеть, послушать музыку, пригласить знакомых. Хочется, наконец, не зависеть от настроения коменданта.

Легче живется там, где советы общежитий самостоятельно следят за порядком, организуют увлекательные вечера отдыха, то есть там, где молодых людей, съехавшихся со всех концов страны, объединяет общность интересов. Подобные общежития есть, но их мало, они, увы, не делают погоду и не снимают остроты проблем.

— Шесть лет в Москве живу, а Царь-пушки не видела, — призналась нам симпатичная девушка с Онежской, 5. — Да и на что мне она? На фабрике отпахала — и в общагу. Посмотрю телевизор, в кино иногда схожу. По субботам, случается, вина выпьем, вот и вся жизнь. А что еще делать?

Оторванные от привычного окружения, предоставленные в огромном чужом городе самим себе, многие лимитчицы обречены на случайные знакомства, не приносящие радости. А наутро — опять грохот станков и тяжелая монотонная работа. В цехе им часто приходится катать груженные тюками тканей тележки. После смены же их ждет скученность, теснота и неумолкающий шум общежития. Все это вызывает среди его обитателей конфликты и неприязнь. Не так давно молодая одинокая мать умерла в общей комнате с ребенком на руках. Боялась попросить помощи у соседей за ситцевой занавеской, возненавидевшей ее по причине неурочного «гласа» младенца.

Многие девушки плохо адаптируются к ритму столичной жизни, страдают нервными расстройствами. По наблюдениям врачей, беременность у них, как правило, протекает с осложнениями, выкидыши и вынужденные аборт в их среде наиболее часты.

Те, кому повезло получить московскую прописку, стремятся выйти замуж.

И сразу встает вопрос, где жить молодой семье, поскольку супруги, как правило, располагают лишь койко-местами в общежитии для одиночек. Администрация предприятий, умышленно или нет, не препятствует созданию семей. Брак подразумевает рождение ребенка, а там, глядишь, и второго. Работница по меньшей мере на полтора года выбывает из строя, да еще ей требуется предоставить жилплощадь в семейном общежитии.

Казалось бы, если не с ведомственной, то с демографической точки зрения рост рождаемости в Москве за счет лимитчиков следует приветствовать и поощрять. Однако, оказывается, не при теперешних обстоятельствах.

КОММЕНТАРИЙ № 5

Из выступления Б. Н. Ельцина на пленуме МГК КПСС 4 октября 1986 года:

«Весь анализ развития города в предыдущие годы подтверждает, что допущенный просчет в определении численности Москвы является, пожалуй, главной причиной многих наших бед. Уже сегодня численность населения почти на миллион больше, чем планировалось по Генеральному плану на 1990 год! А мы еще за пять лет, видимо, добавим. Отсюда и берут истоки экономические, социальные, моральные и многие другие проблемы столицы.

Сегодня видно, что все-таки товарищи поддерживают взятую городским комитетом партии в этом отношении линию на сокращение механического прироста, максимальное сокращение и на прекращение завоза иногородних рабочих со всей страны по 300—350—400 тысяч человек в пятилетку...

Природа между тем берет свое. Женщины, в том числе лимитчицы, не хотят лишаться радости материнства. Не выйдя замуж до 30 лет, некоторые рожают ребенка «для себя». Находятся, правда, и такие, кто рассматривает потомство только как средство для получения отдельной квартиры, но помогает оно мало.

...В четырех маленьких комнатах семейного общежития обитают восемь матерей-одиночек. Если у одного ребенка инфекционное заболевание, в цехах фабрики останавливаются восемь станков. А дети, которых мы видели, очень нервные, болезненные. Немудрено! Врачи настоятельно рекомендовали матерям уехать с детьми туда, где вдоволь воздуха, света. Однако никто из них не последовал этому совету. Нам они объяснили: — Столько лет ждем, бросать жалко.

Жажда московской квартиры заслонила им все, даже самое дорогое и невосполнимое — здоровье собственных детей.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ДЕВОЧКА

С заведующей фабричными общежитиями Ниней Васильевной, просившей не называть ее фамилию, у нас произошла следующая беседа.

— Новое общежитие коевого типа занимают одинокие девушки. Живется им тут прекрасно, по два-три человека в комнате, все удобства. Красный уголок с телевизором, тренажеры. Клуб рядом. Вероятно, не ошибусь, сказав, что на фабрику устраиваются работать ради общежития. С каждой жилички берется расписка: «В случае моего выхода замуж обязуюсь покинуть общежитие в трехдневный срок после регистрации...» Администрация не возражает, если девушки принимают гостей, но только до 23 часов и при условии соблюдения порядка.

— И как долго работницы фабрики живут здесь в вынужденном одиночестве на положении «девушек»?

— Принятые на работу по лимиту получают постоянную прописку через 5—6 лет, на очередь в райисполкоме могут встать после десяти лет жизни в Москве.

— Значит, двадцатилетние женщины могут рассчитывать на получение отдельного жилья годам к сорока, при условии добросовестной работы, а до тех пор должны жить в общежитии?

— Лимитчицы приезжают в Москву прежде всего работать, приносить пользу, выполнять план.

КОММЕНТАРИЙ № 6

Когда же заняться «остальным»? Вопрос далеко не праздный, ибо фактор времени непосредственно влияет на человеческий фактор.

Более пятидесяти лет делаются тщетные попытки запретить, на худой конец ограничить строительство новых промышленных предприятий в черте Москвы. Генпланом 1971 года предусматривалось вывести за пределы столицы 327 предприятий и организаций, но на сегодняшний день выведена лишь небольшая их часть. Причем реконструкция московских заводов и фабрик проводится преимущественно с увеличением количества рабочих мест, потому что статус предприятия и

зарплата его руководящего звена зависят от категории предприятия, которая определяется числом работающих на нем людей. Вновь замкнутый круг, усугубляющий проблему лимита.

— Личная жизнь — дело личное. — Нина Васильевна непоколебима. — В конце концов можно культурно развлекаться, заниматься спортом. В клубе есть дискотека, кружки, в красном уголке у нас всегда свежие газеты, имеется даже экзemplар журнала мод «Бурда».

— Извините, вы сами, кажется...

Наша собеседница молчит. Мы спохватываемся.

— Простите нас.

— Нет, я отвечу.

И вот перед нами уже не суровая «представительница администрации», а просто женщина.

— Мне тридцать семь, но я такая же бесправная лимитчица, такая же «девочка», как все здесь, и живу в общежитии. Кто, когда ко мне пришел — все видят. Спасибо, хоть вахтер гостей пускает. Чужой город, и никому я в нем фактически не нужна. Другие как-то устриваются в жизни, замуж выходят. Некоторые уезжают, а мне и ехать-то некуда.

Решилась родить без мужа, потому что это мой последний шанс...

КОММЕНТАРИЙ № 7

Тан где же все-таки выход? Отменить лимит раз и навсегда? Честно взглянуть правде в глаза и без промедления заняться улучшением положения иногородних рабочих, в первую очередь женщин?

Но вот что поведал нам старший инспектор отдела организованного набора рабочих Управления по труду Мосгорисполкома В. В. Тулянов:

— Количество иногородних рабочих значительно уменьшится, если не будет дополнительных разрешений, на чем настаивает дирекция многих предприятий. Сколько примут через ПТУ, я не знаю. Вопросами обустройства и адаптации лимитчиц в Моссовете никто специально не занимается. Пусть, считаем, об этом заботятся сами предприятия...

Однако на одни предприятия, как мы видели, надежд мало. И получается, что когда городские власти устраняются от ответственности за людей, поставленных в специфические условия труда и жизни, люди эти оказываются отдаленными на произвол администрации, которая относится к ним, как орудия решения своих текущих производственных задач. Причем не чувствует себя ничем перед ними обязанной.

Итак, скрытая форма оргнабора через профтехучилища — секрет Полишинеля — продолжается повсеместно.

Если лимитчики пока еще — увы! — нужны городу, надо обеспечить им нормальное существование. По крайней мере такое, чтобы они не чувствовали себя неуютно. Их позвали, но по-настоя-

щему не помогают им стать полноправными москвичами, приобщиться к столичной культуре, вписаться в социальное окружение. Вот почему тысячи приглашенных не выдерживают и уезжают. Ломаются судьбы, на ветер пускаются миллионы рублей.

А иногородние рабочие в переполненных общежитиях все ждут и ждут обещанных им в недалеком будущем жилья и прописки...

«Феличита, Феличита! Пересчитай: тебя обманули на сорок копеек, Ты — лимита...»

На сорок ли копеек обманули их?!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

— Административно покончить с лимитом нельзя, — утверждает директор НИИ труда Е. Г. Антосенков. — Только эффективность производства и оздоровление экономики в целом, а не в одной лишь Москве, способны кардинально изменить положение к лучшему. Требуется также новая система планирования и подготовки кадров.

Конечно, дров наломали изрядно. Одним махом теперь дела не поправишь. Шутка сказать! Из сельской местности и почти не развивающихся малых городов вычерпали в минувшие годы все свободные людские ресурсы, стягивали их искусственно вокруг крупных промышленных центров. Коренное население этих центров неохотно шло на малопrestiжную, однообразную, нелегкую физическую работу. Вот и пришлось систематически прибегать к помощи лимита...

Вспомним к тому же, что темпы роста в десятой пятилетке были в два раза ниже запланированных, а области непривлекательного труда сокращались медленно. Лимит вобрал в себя, сосредоточил, как в фокусе, многие наши экономические противоречия и ошибки.

И все же мы оптимисты. Обнадеживающие признаки налицо. Повышение зарплаты, выравнивание диспропорций за счет внутренних ресурсов (примером тут может служить МПС), несомненно, приведут уже в скором времени к заметным результатам. Предприятия сейчас везде переходят на хозрасчет с сокращением рабочих мест на 5—7 процентов. Взамен былого оргнабора в Москве на подходе новая проблема — занятости. Сегодня на ряде столичных предприятий происходит переоценка ценностей, люди начинают дорожить своим рабочим местом.

Если мы выполним намеченное, в стране высвободится до 18 миллионов человек, и нам, экономистам, предстоит тогда столкнуться с вопросами перераспределения рабочей силы. Тоже не простой процесс, и, чтобы он протекал безболезненно, следует заранее все продумать. Это, по-моему, теперь самое главное.



ТЕАТР ОДНОГО ОРКЕСТРА

Надо сильно чувствовать,
чтобы чувствовали другие...

Никколо Паганини

РАМПА

Сегодня трудно найти человека, даже далекого от мира музыки, который бы не знал, кто же такие «Виртуозы Москвы». Об искусстве камерного оркестра, блистательного содружества превосходных музыкантов, руководимого народным артистом РСФСР Владимиром Спиваковым, ныне говорят многие.

Характерно, что передача «Спутник телезрителя» назвала среди самых популярных программ 1986 года встречу с «Виртуозами», а Владимира Спивакова — одним из лучших «ведущих» (хотя вряд ли такое определение точно).

Каким же образом сейчас, когда классике в буквальном смысле слова приходится «продираться» к сердцам широкого слушателя сквозь дебри так называемой массовой культуры, этот самый «широкий» слушатель называет камерный оркестр с его классическим репертуаром в числе наиболее популярных коллективов? В чем причина того, что разговор с дирижером и скрипачом Владимиром Спиваковым, изобиловавший музыкальными иллюстрациями из произведений разных эпох, зрители сочли одной из самых «занимательных» программ месяца?

Прежде чем попытаться ответить на вопрос, приведу несколько строк из письма, присланного на телевидение в числе сотен других: «Волею судьбы в день трансляции встречи с Владимиром Спиваковым я оказалась в военном госпитале. Большинство пациентов — солдаты и младший офицерский состав, едва ли, как мне казалось, могли заинтересоваться серьезной музыкой. Я и не помышляла, что мне удастся посмотреть эту передачу в то время, как по другой программе демонстрировался какой-то художественный фильм. Каково же было мое удивление, когда, выйдя в холл к телевизору, я не обнаружила ни одного свободного места: все увлеченно слушали «Виртуозов», и никто не ушел до окончания передачи. А ведь вряд ли кто-либо из молодых ребят, собравшихся в тот вечер у телевизора, бывал раньше на концертах классической музыки, ходил слушать Вивальди, Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, Чайковского, Шостаковича и даже классический джаз...»

При всей глубине и сложности, порой даже изысканности их трактовок классики, романтики, современной серьезной музыки, эти музыканты обладают удивительным даром непосредственного воздействия на самую разную аудиторию.

Говорят, человек «заразительно» смеется. Другими словами, он способен внушить окружающим те же эмоции, которые испытывает сам. Так вот, «Виртуозы» играют заразительно... Именно это слово очень точно передает особенность их исполнительской манеры. Ведь в высоком профессионализме, мастерстве, глубоком проникновении в музыку нельзя отказать многим нашим замечательным и камерным и симфоническим кол-



лективам. Однако «эффект виртуозов» существует — это бесспорно.

...Перелистаем несколько страничек сравнительно короткой и на первый взгляд «безоблачной» истории оркестра. В 1979 году состоялось первое выступление камерного коллектива, нареченного «Виртуозами Москвы». Успех пришел сразу. Казалось бы, чего еще желать? Однако успех отнюдь не решал проблем, стоящих перед «Виртуозами», и трудностей на их пути не убавилось. Ведь каждый из музыкантов продолжал работать в своем оркестре, поскольку официальный статус а вновь организованный коллектив не получил. Это означало: репетировать в выходные дни, во время отпуска, наконец просто ночами, используя малейшую возможность собрать всех артистов, оказавшихся свободными одновременно, что случалось не часто. В том же 1979 году во время гастролей в США после выступления со знаменитым Чикагским симфоническим оркестром Владимир Спиваков получил предложение создать на его базе и возглавить камерный оркестр, став так называемым «приглашенным» главным дирижером, и ежегодно участвовать в летних музыкальных фестивалях в Равине (США). Предложение по меньшей мере лестное. Тем более что будущее оркестра в Москве оставалось туманным. Не собираюсь изображать Спивакова героем, но считаю необходимым отдать должное целеустремленности, преданности своему замыслу. И так, предложение американских музыкантов было отклонено, а «Виртуозы Москвы» продолжали упорно отстаивать свои позиции. Они работали... И на концертах, с первого дня поражающих публику своей непривычной праздничностью, едва ли кто-то из слушателей мог предположить, как непросто складывалась их рабочая, так сказать, закулисная жизнь, каких усилий стоило «выцарапать» каждого артиста на один этот вечер, чтобы он не совпал с выступлением оркестра, где тот или иной музыкант постоянно трудился, с гастролью или даже просто репетицией. Официальный статус «Виртуозы» получили лишь три года спустя. Осенью 1982 года состоялась «первая» репетиция Государственного камерного оркестра Министерства культуры СССР, к тому времени уже завоевавшего огромную и вполне заслуженную популярность. С тех пор музыканты дали более 500 концертов.

Среди великого множества выступлений оркестра могли быть более

или менее удачные. Среди огромного количества самых разнообразных программ наверняка встречались и спорные трактовки произведений классики и неожиданные интерпретации, не соответствующие общепринятым. Однако можно с полной уверенностью сказать, что «обычных», будничных, неинтересных концертов у оркестра не было никогда. И в этом заключается еще одна особенность удивительного музыкального братства.

Какая огромная интеллектуальная работа, напряжение мысли, сосредоточенность, не говоря уже о мастерстве, требуется для того, чтобы, не упрощая содержания сложного произведения, сделать его доступным, приносящим подлинную радость общения к прекрасному даже самому неискушенному слушателю? Ведь именно от исполнителя во многом зависит, придет ли еще раз в концертный зал «случайный» слушатель, станет ли число любителей музыки хотя бы на одного человека больше.

О доступности и популярности искусства сегодня говорится много. Однако за популярность надо платить, и цена популярности высока. Ведь имя ко многому обязывает. Некоторые усматривают за громким именем лишь ажиотаж, царящий у касс, и утверждают, что в переполненных залах сидят многие из тех, кто пришел «на имя»... Не спорю, подобные «издержки» популярности существуют, и они, вероятно, неизбежны. Но существует и обратная сторона этого явления, куда более важная. Ученый, поэт, композитор, однажды сделав уникальное произведение, уже вписал свое имя в летопись культуры. Исполнительское искусство сиюминутно. Оно требует от артиста постоянного подтверждения незаурядности его таланта. Чем больше ажиотаж вокруг «имени», тем труднее снова и снова доказывать свое право на высокое звание, на славу, право на успех.

Когда за спиной «Виртуозов» раздаются реплики, что они подчас выбирают репертуар «в угоду» вкусам широкой публики и позволяя себе «развлекать» зал, хочется напомнить программы оркестра, охватывающие все музыкальные пласты и жанры — от «добаховского» периода вплоть до классики XX века и произведений наших современников. И только наиболее консервативно настроенный критик может выразить неодобрение, когда оркестр исполняет на бис свои изящные «сюрпризы» — очарователь-

ные миниатюры, превосходные джазовые обработки. Думается, если «развлекательное» сочинение, как его именует иной мрачно настроенный апологет строгого академизма, исполняется с той безукоризненностью, тонким чувством стиля, изобретательностью и остроумием, какие свойственны «Виртуозам», то и оно поднимается до уровня подлинного искусства.

Независимо от того, исполняют ли «Виртуозы» впервые звучащее произведение или уже хорошо известное, их интерпретации всегда свежи и оригинальны, согреты живым человеческим чувством. Яркие, рельефные, они становятся захватывающими, подобно театральному действу. Впрочем, ведь и музыка Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Бартока — титанов XX века, в высшей степени «театральна»... Но как это ни парадоксально, именно «театрализованность» ставят в укор Владимиру Спивакову некоторые музыканты.

Великолепный артистизм, проявляющийся в исполнительской манере и в сценическом поведении Спивакова-скрипача, дирижера, всего оркестра в целом, вызывает не только огромный слушательский интерес, но и привлекает к совместным с «Виртуозами» выступлениям, к участию в их музыкальных «действиях», если хотите, выдающихся мастеров сцены: Е. Образцову и М. Касрашвили, Т. Синявскую и А. Давтян, В. Крайнева и М. Плетнева, Данг Тхай Шона, юного Женю Кисина и многих других советских и зарубежных артистов.

Мне довелось побывать на репетициях оркестра. Никогда не думала прежде, что, наблюдая за «черновой» работой музыкантов, можно получать такое огромное удовольствие, а главное — сами артисты занимаются ею так же одухотворенно, как если бы выступали перед публикой. Для них просто не существует понятия работать без настроения, без эмоций, вполсилы.

Владимир Спиваков часто вспоминает слова К. С. Станиславского о том, что исполнитель должен иметь «осердеченный ум». И эта мысль находит воплощение и в звуке его скрипки и в голосе управляемого им оркестра.

Не случайно музыкальная критика отмечает совершенно особый дар Владимира Спивакова «собирать на кончике дирижерской палочки внимание и творческую волю большой массы исполнителей». Позволю себе добавить: и слушателей. И потому, наверное, интерес к творчеству Спивакова и его оркестра не иссякает.

Так в чем же все-таки состоит феномен «Виртуозов»? Наверное, каждый сам найдет для себя ответ на этот вопрос, если хоть раз побывает на их концерте. И пусть кто-то придет в концертный зал «на имя», но попадет он именно «на музыку». Вот и весь секрет широчайшего спектра искусства «Виртуозов», которое «светит всем»...

Фото Владимира ПЧЕЛКИНА.

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ ЧАСТО ВОСПОМИНАЕТ СЛОВА
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО О ТОМ,
ЧТО ИСПОЛНИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ «ОСЕРДЧУВНИЙ УМ».
И ЭТА МЫСЛЬ НАХОДИТ ВОПЛОЩЕНИЕ И
В ЗВУКЕ ЕГО СКРИПКИ, И В ГОЛОСЕ
УПРАВЛЯЕМОГО НИМ ОРКЕСТРА.





АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МИР
 ОБЛЕТЕЛ СЕНСАЦИОННАЯ ВЕСТЬ —
 НА ОКРАИНЕ РОСТОВА,
 В АЛЕКСАНДРОВКЕ,
 СРЕДИ МНОГОЗНАЕК
 СТРОЯЩЕГОСЯ МИКРОРАЙОНА,
 ОТКРЫТО ПОГРЕБЕНИЕ
 ПЕРВОГО ВЕКА.
 НА ПРОТЯЖЕНИИ
 ПОСЛЕДНИХ ДВАДЦАТИ ВЕКОВ
 ОНО ОСТАВАЛОСЬ НЕПОСЛУЖИМЫМ



ЗОЛОТЫЕ КУРГАНЫ





Мы прыгаем в раскоп, оставляя на рыхлой земле отпечатки кроссовок. Странно диссонируют они с чеканной вязью золотых браслетов, орнаментом флакона для благовоний и, главное, необычайной красоты гривной — символом власти и богатства тех далеких эпох.

У археологов — праздник. О такой находке мечтает каждый специалист. А здесь тот редкий случай, когда сон словно наяву. Осторожные движения мягких кисточек открывают солнцу вспыхивающее под лучами золото. Россыпью брошены вокруг изголовья золотые пластинки в форме оленей и птиц — сохранившиеся остатки диадемы.

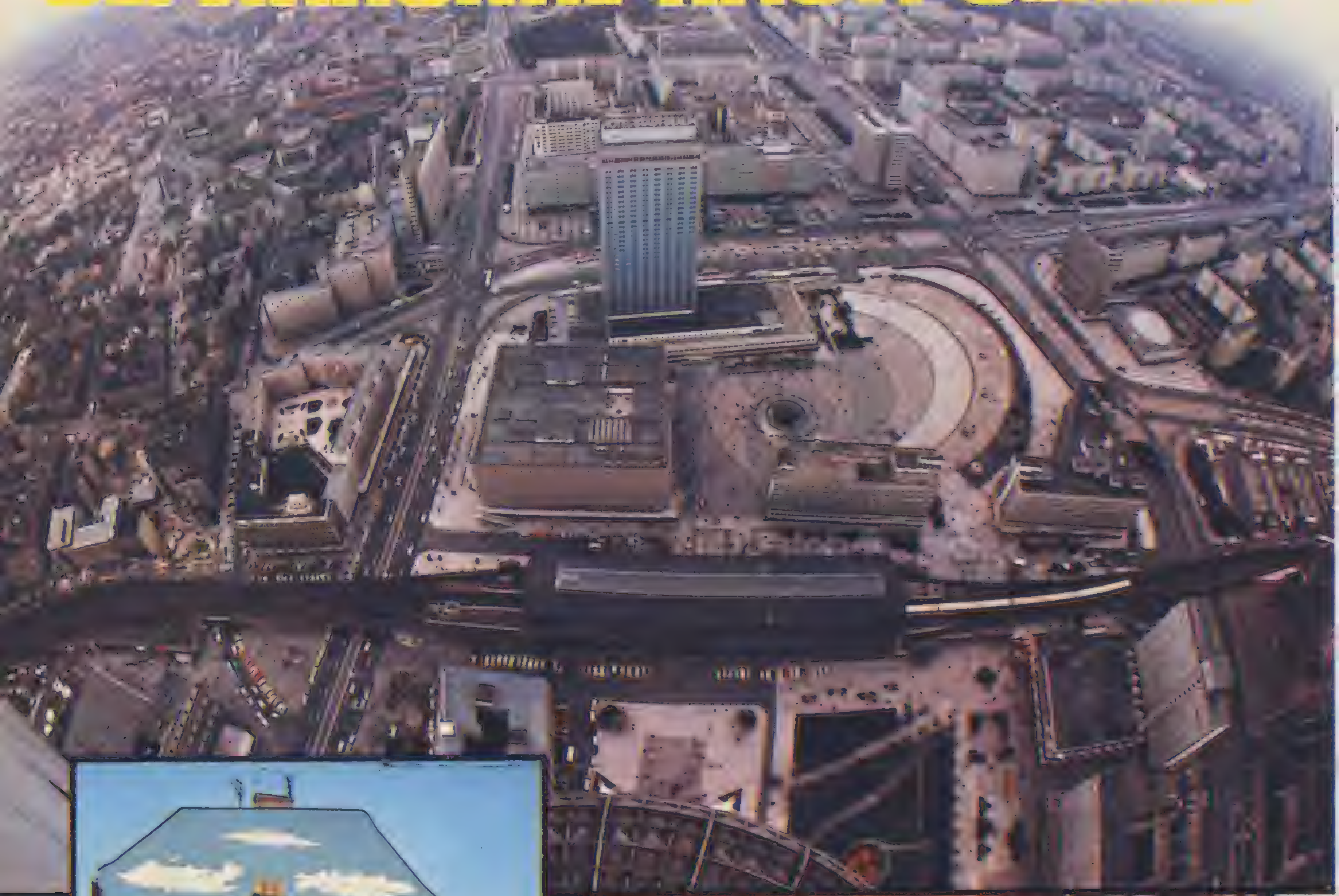
В шкатулках из мела — моток золотых ниток, стеклянный флакончик. Остатки прошитой золотом парчи расстелены по дну раскопа.

Окончание см. на стр. 24

Фото Сергея ПЕТРУХИНА



БЕРЛИНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ





В моем далеком детстве все иностранное, кроме, разве что родительских воспоминаний о ленд-лизской тушенке, было немецким. Меру отношения к нему создавал, помимо прочего, еще и

фильм «Падение Берлина», который мы, не нюхавшие пороха войны, бежали смотреть по несколько раз, затем штурмовали на улице свой «рейхстаг» и брали в плен «фашистов». Сосед дядя Жора воевал в Восточной Пруссии, из множества наград особенно гордился медалью «За взятие Кенигсберга», мог часами рассказывать о войне, Германии и страшно сожалел, что ему после победы не удалось попасть в Берлин, «одним хотя бы глазом увидеть квадригу Виктории на Бранденбургских воротах и расписаться на развалинах рейхстага». Столицу побежденного рейха он, офицер войск связи, изучил досконально и знал, казалось, город, как свои пять пальцев. Он вспоминал, как попал ему в руки обгоревший альбом фотографий Берлина некоего Альберта Шварца с улицами, зданиями необычной архитектуры, памятниками разных эпох. «Не хотелось верить», — говорил дядя Жора, — что из этого старинно-идиллического места совсем недавно раздавались нечеловеческие приказы сначала на уничтожение таких же городов на Востоке, а затем и собственного города...» В кожаном офицерском планшете фронтовика хранилась также с той поры потертая на изгибах, местами в подпалинах, но вполне читаемая оперативная карта Берлина в пометках, надписях и цифрах. Были минуты, карта вынималась, разравнивалась на столе, и начиналось путешествие по улицам, переулкам, площадям и бульварам с мудреными названиями. Наиболее часто повторяемая концовка «штрассе» вообще стала для меня первым в памяти иностранным словом из так до конца и не изученного языка, а многое повидавший человек, бравший на себя роль одновременно экскурсовода и переводчика, постоянно наставлял: «Запоминай все, парень, пригодится, когда вырастешь...»

Ту, по-видимому, выпущенную для командного состава вермахта карту еще не разделяла надвое жирная красная черта государственной границы, хотя мы, жадно следившие за политическими новостями по радио и газетам, четко представляли себе одну из послевоенных реалий — существование двух Берлинов. На востоке — демократического, столицы первого социалистического государства на немецкой земле, и Западного Берлина, граница с которым едва не послужила поводом к началу нового военного конфликта в Европе.

Многое ушло из памяти с тех пор, а может, учеником я оказался неважно, поскольку, кроме Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе и Полицей-плац — Полицейской площади, ничего не запомнил. Берлин же новый впервые увидел воочию летом нынешнего года в самый разгар юбилейных торжеств по случаю 750-летия города. А с детских воспоминаний начал разговор вот почему: неизменно они навалились, едва вышел из поезда на площадь у Остбанхофа, восточных железнодорожных ворот Берлина, и увидел памятник, почерневший флигель в паутине реставрационных лесов. Три полных этажа было в нем и верхний, развороченный, похоже, прямым попаданием, оцетинившийся ржавой арма-

турой вместо крыши. Над полуподвалом четко просматривались выведенные белилами надписи «сапожник» и «портной» по-русски... Глазницы флигеля когда-то утирали слезы поражения белыми платками капитуляции, ну а первый этаж, быть может, тогда единственного целиком не разрушенного здания на бойком месте у вокзала стал временным солдатским «домом быта».

Дыхание войны прорвалось сквозь десятилетия...

С вокзала, спешно забросив вещи в гостиницу, мчусь в центр.

На берегу Шпрее — вишнево-золотистый параллелепипед Дворца Республики, внушительная доминанта из красного клинкера слева — резиденция обер-бургомистра, рядом — вонзенная в небо игла телебашни, небоскреб интеротеля «Штадт-Берлин» и знаменитые часы, показывающие на своем циферблате время во всех уголках планеты.

— Здравствуй, Берлин!

...Суббота. Торговля свернута до понедельника. Здесь, на Алексе, начинается вечерний парад молодежной моды — чего только не увидишь, — который с видимым удовольствием наблюдает туристская братия. К языковому интернационалу привыкаешь быстро, с определенного момента перестаешь чувствовать себя чужаком, а по первым же деловым контактам с представителями служб сервиса убеждаешься: гость в Берлине не обуза, гостю в столице ГДР, кем бы он ни был, искренне рады и готовы помочь по мере сил и возможностей.

Всматриваюсь, обживаюсь, словно в новой, с иголки квартиры, проникаюсь настроением берлинцев, слушаю несколько необычный их говор, подстраиваюсь под вошедший в поговорку «берлинский темп» (к слову, по сравнению с московским он примерно вдвое спокойнее), вдыхаю безумные ароматы и вот теперь советую всем приезжать сюда в пору благоухания липы на Унтер-ден-Линден — «Улицы под липами».

— Вам нравится Берлин? — несколько неожиданно, хотя спрашивают по-русски, с небольшим акцентом. Он и она стоят обнявшись, вопрос задает он, у нее в глазах лукавинка. Отвечаю: конечно, по первым впечатлениям... Взрыв эмоций у него — оказывается, идет игра, которую Людвиг и Гизела, студенты-лингвисты, придумали себе на сегодняшний вечер. Суть игры такова: выбрать на улице человека и безошибочно задать ему вопрос на родном его языке. Английском, французском, русском... Пока с опережением в пять очков вела Гизела, я становлюсь для Людвига первой удачей. Он готов, таково условие игры, исполнить любое мое желание.

— Начинаю коллекционировать черты берлинского характера. Назовите главную его особенность?

— Один из наших писателей утверждает, что таковой является щедрость...

— Вы, стало быть, с ним согласны?

— Возможно, еще толика практичности... Впрочем, желаем вам убедиться в этом самому.

Расстаемся друзьями. Заношу в блокнот: не хранят молодые берлинцы за амбарным замком и искренность, прямую спутницу щедрости. Можно понять их во многом, в стремлении по-своему осмыслить жизнь, найти единственно верный путь к своему счастью. Городская среда с ее размахом, строгим и функциональным подходом диктует стиль, одновременно возбуждая желание его усовершенствовать.

Вместе с тем городу есть, этого у него не отнимешь, чем увлечь гостя. Тайны свои город первым делом открывает не туристу, азиращему на мир из гигантского автобуса-аквариума с кондиционером и цветным телевизором, но человеку пешему. Особенно

понимаешь это на знаменитом Остро-ве музеев, из-за которого Берлин еще называют «Афинами на Шпрее». На четырех колесах там ощущение такое, словно разъезжаешь в авто по залам Лувра...

Пешком — значит несколько дней. С высоты птичьего полета — ровно час. Полный оборот за столиком телекафе — словно видеофильм, правда, без звука. 360-метровая телебашня — предмет особой гордости строителей — возводилась не на окраине, а в самом центре, буквально в нескольких метрах от знаменитой Красной ратуши. На одной из террактотых плит «каменной хроники», опоясывающей ратушу на уровне первого высокого этажа, изображен ратман с тяжелой должностной цепью на груди — символом присвоения Берлину городских прав. С тех пор прошло семь с половиной веков.

Да, все здесь и начиналось. Изначально на правом и левом берегу Шпрее, в наиболее удобном для переправы месте, жили полной жизнью два самостоятельных, независимых друг от друга поселения — собственно Берлин, был он поменьше, и славянская рыбацкая деревушка Кёльн. В начале XIV столетия они соединились, приняв единое, сегодняшнее название. Кёльн впервые упоминается в документе, датированном 28 октября 1237 года, от которого и ведут счет юбилей. В долгой и непростой истории Берлина вместе слилось трагическое и прекрасное, слезы и страдания, кровь и надежды. Фриз «Каменной хроники» на ратуше суть штрихи к далекой не простой истории, из которой, увы, многое выпало. Вряд ли субъективизмом камнереза объяснимо такое: на ратуше есть фигура разносчика газет, оповестившего в 1871 году берлинцев о провозглашении канцлером Бисмарком империи, но нет и намека на бурные события буржуазно-демократической революции 1848 года, волной прокатившейся по Европе и, естественно, не на шутку всколыхнувшей Берлин.

В том же году Карл Маркс ведет в Берлине переговоры с лидерами демократического движения, осенью 1893 года его соратник и друг Фридрих Энгельс, бывший волонтер гренадерского полка, расквартированного на Нупферграбене выступает с речами на берлинских рабочих собраниях. Буквально через два года в Берлин приезжает русский революционер Владимир Ульянов, работает с марксистской литературой в тогдашней Королевской библиотеке и пишет матери: «Живу я здесь все так же и обжился уже настолько, что чувствую себя почти как дома...» Книжки, которыми пользовался Ильич, сохранились и стали реликвией государственной библиотеки на Унтер-ден-Линден, а на зданиях, связанных с именем Ленина, установлены памятные мемориальные доски.

— Пока нам из далекого прошлого известны лишь зарубки, штрихи к истории города, — пояснил мне один из руководителей ведомства по охране исторических памятников при министерстве культуры ГДР, Эрнст Вадштюбнер. — Видите ли, Берлин формировался, как город для жилья, отдыха. Пусть и не достиг он славы и величия важнейших центров Ганзейского союза «вольных балтийских городов», тем не менее заявил о готовности быть надежным торговым партнером, местом, где можно найти приют, отдохнуть от трудностей пути. Этот город, подтверждается хроникой, не отчуждал личность каменным скоплением домов-крепостей...

А сегодня? И не этого ли я пугался, отправляясь в Берлин: увидеть воплощенный в сталь и бетон, отдаленный от природы и заставленный домами-кубиками типичный город XX столетия? Однозначно говорить об этом сложно, в целом существует ведь гамма вкусов, помноженная на необходимость выбора той или иной архитектурной концепции. Идеальных городов нет, как нет идеальных во вкусах и манерах людей, чьи руки создают эти города. Человек привыкает к среде своего обитания, как муравей привыкает к своему муравейнику, на гостя же возлагается задача понять то или иное,

быть может, не совсем обычное для него явление.

...Воскресенье. Вечер, вернее, почти ночь уже. Сидим в одном из многочисленных кафе, которыми город не перегружен, но в которых не ощущается недостатка. Свободных мест нет, тем не менее зашли двое, откуда ни возьмись — столик со стульями. О посетителях заботится официант, один обслуживает человека пятьдесят и не просто ходит гордо и неприступно, а старается изо всех сил. Считанные минуты уходят на выполнение заказа, каждому найдется доброе слово.

В глаза бросается не сразу, но большинство сидящих за чашкой кофе — люди преклонных лет. Кафе «Ценнер» специализируется на обслуживании пожилых супругов. Меня убеждали, что в Берлине не принято, особенно в выходной день, просиживать в четырех стенах, уткнувшись в телевизор, пускай и показывающий он две свои программы да три или четыре западные. Часть столиков вынесена на улицу, играет музыка.

Здесь и культура, и дань особой традиции: бесплатно получай чайничек с кипятком и заваривай по собственному вкусу принесенный с собой кофе. В другом месте, в другом кафе — «Клерхенс балхаус» на столике были установлены телефонные аппараты. За столиком сидели по одному. Играл аккордеонист, каждый мог позвонить, к примеру, даме в другом конце зала и пригласить ее на танец. Сегодня это кажется смешным и наивным, однако позвольте, всегда ли мы отваживаемся сказать хотя бы первые слова Ей? И вот телефон — удивительная в своем роде и оригинальная служба знакомств «в стиле ретро». Некогда она позволяла берлинцам искать друг друга, и не зря именно в наши дни старинная идея всерьез обсуждается, ее хотят возродить. «Вы знаете, многие из тех, кто у меня сегодня здесь, именно так и познакомились давным-давно...» — говорил официант «Балхауса».

Берлин давней поры мог лишь состоятельным своим гражданам предоставить услуги в виде технической новинки — телефона на столике, в кафе. В целом же город оставался рабочим, пролетарским. Ветер социальных перемен, зародившись в Германии, разметал тучи российского самодержавия и вернулся на немецкую землю. Берлинцы, с восторгом принявшие сообщение о революционных событиях 1918 года в Киле, начали всеобщую забастовку и поднялись на вооруженное восстание. Реакции удалось разгромить авангард рабочего класса Берлина, однако эстафету их принял пролетариат Баварии, провозгласивший советскую республику.

Еще через четырнадцать лет над главным городом Германии взвились красно-бело-черные знамена с фашистской свастикой... Сохранилась фотография центра Берлина, снятая с самолета весной 1945 года: различим разве что остов вокзала «штадт-бана» — городской электрички, остальное — руины... Фашизм нес гибель не только другим цивилизациям, даже стоя на краю могилы, гитлеровцы пытались утащить туда за собой весь город. «Мы уйдем, но так хлопнем дверь, что содрогнется весь земной шар!» — вопил в безумии Геббельс. А фюрер издал «приказ Нерона», велел взорвать все, что можно, залить водами Шпрее тоннели «унтергрундбана».

В буквальном смысле по капле, по кирпичику восстанавливают город все граждане ГДР. К юбилею, например, практически заново был отстроен квартал Николайфиртель, улицы которого в чешуе булыжников навтыты вокруг стройной и гордой двуглавой церкви святого Николая. Кокетливые резные порталы, щипцовые крыши, островерхие сказочные башни, узкие переулки, где прячутся тайны, стали типично музейно витринной.

Случайно или нет, но на этих камнях встретил я одного из тех, кто смело может сказать: «Мой Берлин и я, его нынешний крестный отец...» Профессор архитектуры Эрхард Гиске — высокий, широкоплечий, лишь возраст его ссутулил, в чем-то схожий манерами с нашим академиком Лихачевым, — перерезал алую ленту у вновь отстроенного гугенотского собора Вердеркирхе. Много не говорил, поблагодарил молодых, плечистых парней в джинсах за честный и качественный труд, вручил им медали «Строителям Берлина», а затем ушел и мне минутку.

— Интуиция? В общем, существует строгий план, по которому все готовится, прежде чем приступить к практическому строительству. Но и не все до капли в чертежах. Сегодня за месяцы мы делаем то, на что раньше уходило десятилетия.

— Уверены ли вы, что в конце концов удастся вернуть Берлину его исторический облик?

— Такой прямой цели при восстановлении никто не ставит. Главное — уловить ритм времени, истории, общее настроение и без фальши совместить с ритмом и настроением дня сегодняшнего.

— Удастся ли?

— Кое-что. Прежний Берлин, хотя им и восхищались в своих берлинских письмах Генрих Гейне, был низкорослым, каменным, городом серого цвета. Теперь представьте: мы воспроизводим старое и напроць исключаем зелень, природу. Думаю, что никто, даже самый рьяный сторонник калькирования, не согласится с таким вариантом!

Если бы я только остановился на восстановлении старых берлинских кварталов, своеобразном камертоне городского настроения с его нотой сопричастности традициям! Ведь за эту трудную работу взялись, лишь когда был поколеблен квартирный дефицит. Средние века, собственно, ожидали несколько послевоенных десятилетий, прежде чем люди начали покидать неудобные квартиры старой планировки, вышли из полуподвалов, расширили жизненное пространство. Молодожены перестали годами стоять на учете, и резко пошла вверх кривая рождаемости, что не могло не радовать. В сегодняшнем Берлине скоро будут жить почти полтора миллиона!

— Помню, хотели возводить новую столицу на новом месте. Вовремя отказались от этого и правильно поступили. Зачем убивать старые дома, если их стены и фундамент перестоят сегодняшние? У нас в районе Пренцлауэр Берг в моем конкретно доме, где я родился и вырос, изменили внутреннюю планировку, фасад подновили, пришлось какие-то неудобства вынести, но мы-то, берлинцы, — народ терпеливый.

Человек увидел мой интерес, сам подошел и предложил помощь. Вольфганг Прэн по профессии пекарь и типичный, как показалось, берлинец. С ним интересно было говорить, и я узнал, как восстанавливают, вернее, строят то, что можно назвать новым старым домом. Сначала приходят архитекторы, беседуют с жильцами, выслушивают всех, кто желает высказаться. Много семейным предлагают расширяться, одиночкам — наоборот. Ведь если

один человек по сложившимся обстоятельствам занимает несколько комнат, к чему они ему?

— Мы очень просили сохранить прежний фасад с привычными для нас лепными украшениями, какие запомнились с детства. Мы ведь, не улыбайтесь, консерваторы, над этим одно время подсмеивались, а теперь знаете как завидуют!

— Неужто, Вольфганг, в доме вашем остались все до единого прежние жильцы?

— Конечно, нет, в новые кварталы уехали те, кому срочно нужна была большая квартира, кто не мог или не хотел дожидаться окончания реставрационных работ. По согласию ехали отсюда, а я так понимаю: может, и правильно далеко от центра поставили многоквартирные большие дома, иначе-то как? Где-то у нас в газете писали: сто семей в день получают ключи от квартир, сто семей!

Разговор наш охватывал период последних двух десятилетий. Примерно с той поры, когда властями ГДР были приняты решительные меры по укреплению государственной границы. В эти десятилетия уложилось возведение новых промышленных гигантов, поставивших город в число промышленно развитых столиц, когда мощный толчок получило развитие науки и культуры.

Эти же десятилетия несут на себе и печать застоя. Хотелось видеть один лишь свои успехи, достижения. Экономика заслонила Человека — меру всего сущего. Победные реляции глушили насущные его потребности, чаяния.

Ко времени отъезда я понял: нынешний Берлин по-особому открывается, например, для тех, кто здесь проездом, для тех, кто здесь долго живет, и он совсем иной для коренных берлинцев. Интересно, сколько их? Какие они? У друзей, любезно согласившихся помочь мне, у коллег-журналистов из дружественного «Огоньку» журнала «Фрайе Вельт» я спрашивал и получал, словно сговорились все, один ответ:

— Мы должны побывать у Вернера Ленца.

— Почему это имя?

— Видите ли, — отвечали мне, — он родился в Берлине, вырос в этом городе, и все мы по-особому узнали Берлин благодаря его прелестным и милым книгам.

Вернер Ленц действительно автор многих книг о Берлине и берлинцах, однако он никогда не покидал полученную от отца в наследство профессию — оптик. У него своя мастерская в одной из комнат квартиры несколько в стороне от шумных магистралей. На небольшой витрине — мини-музей: пенсне и монокли, лорнеты, оправы самых разных фасонов и конфигураций, имевших хождение в последние полтора-два столетия.

— Любую из них можно в принципе купить, хотя предпочитают брать в прокат для спектаклей в театрах, для съемки кино...

— А литературные занятия?

Вместо ответа писатель открыл дверцу шкафа. Стройными рядами там выстроились небольшого формата книги.

— Человек живет долго, на все времени хватает... Знаете, прежде я хочу рассказать о своем любимом месте в Берлине. Даже, постойте, я вам его покажу!

И мы отправились в путь по уже вполне узнаваемым улицам, мимо старинных фасадов, мимо Трептов-парка со знаменитым памятником советским воинам-освободителям, вдоль берега неторопливой Шпрее с парением медленных чаек... Уже могу отличить церковь в районе Кёпеник от такой же, сходной по архитектуре, на Фридрихштрассе, и лишь современные дома с темными стеклами,

которые ассоциируются, уж простите, с людьми в темных очках, остаются одинаковыми. Вижу, как добреют глаза моего провожатого, ибо нет ничего приятнее для берлинца, как, впрочем, и для жителя любого другого города, когда гость не из вежливости, а от сердца принимает силуэты нового для себя как родное.

— Вот это место... Там стоял дом, где я родился, оттуда начинают путь почти все герои моих рассказов.

Мы стоим на перекрестке, ничем особо не выделяющемся, который плавно обтекают «трабанты», «квартирбурги» и «лады». Замечаю, как пожилой человек уносится мыслями вдаль, в прошлое. В руках его книга, он разворачивает страницы, и передо мной гравюра этого же места в старом Берлине. Так неожиданно я узнаю, что Вернер Ленц еще и художник. Дё какой! Иллюстрации ко всем своим книгам выполняет сам!

— По необходимости?

— Я непрофессионал, и моих работ нет в музеях. Знаете ли, если вам раскрыть берлинский характер, то в душе мы все немного художники, многие пробуют, и у многих получается.

Снова попала в руки та важная нить, до конца не прощупав которую не хотелось уезжать. Все ли удалось узнать о берлинцах?

— К щедрости и практичности моих земляков я присовокупил бы небольшую долю самокритичности и иронии, отсутствие заносчивости и спеси. Иногда мы сами себе кажемся провинциалами, даже называем Берлин «большой деревней», как во всякой деревне, не преминем уколоть друг друга шуткой, при этом помня, что нельзя наносить ударов в сердце другого человека, а ирония сама по себе позволит выкрутиться из любой, порой безнадёжной ситуации, — говорил мне Вернер Ленц.

Вот теперь расставлены кое-какие акценты.

— Помните наш девиз: «Человек — человеку». Я хорошо знаю вторую часть нашего города, там, к сожалению, человек рассматривается звеном в жесткой модели, которую он либо вынужден принимать, как она есть, либо его город отторгает. Гуманизм демократического Берлина имеет прочные исторические корни, их пытались выкорчевать фашисты, однако если им что-то и удалось, то, как вы знаете, история все ставит на свои места.

Писатель, говоря со мной, как бы расшифровывал вдохновенные слова великого веймарца Гёте, не однажды посещавшего Берлин и признававшегося в своей любви к нему:

Здесь я человек.
Здесь я могу быть им.

...К Бранденбургским воротам прихожу за час до назначенного отъезда на вокзал. Вечер. Солнце опускается в зелень парка Тиргартен, где от руки убийц пали Карл Либкнехт и Роза Люксембург и который уже там, в Западном Берлине. Создатель этого простого, совершенного, как всякие гениальные вещи, сооружения задумывал его как «ворота мира». Знал бы архитектор Карл Лангханс, что придется пережить его детищу!

С той стороны, где громада обезглавленного рейхстага мрачно стоит на пустыре, несутся звуки реваншистских маршей, летят через границу банки из-под пива, бутылки. Не умирают те, кому история не пошла впрок, только на это спокойно взирает погружающийся в сумерки город, полный собственного достоинства. Место, где встретились как бы прошлое и будущее Германии.

«А как же юбилей?» — спросит дошлый читатель. Отвечу: лучшим к нему подарком и стал Берлин сегодняшнего дня.

Берлин — Москва.

Когда в Электросталь пришли газеты с Указом о награждении Героя Социалистического Труда токаря-карусельщика производственного объединения «Электростальтяжмаш» Владимира Михайловича Ярыгина орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот», пошли, покапались по цехам объединения «Электростальтяжмаш» разные разговоры. Нет-нет да и спросит кто-нибудь: а за что, собственно, именно Володе Ярыгину такое отличие, за какие такие дела и поступки? Героев в Электростали — что среди сталеваров, что среди машиностроителей — много. А вот дважды Герой один-единственный. Тот ли самый?

— Значит, интересуешься, — переспросил цехового скептика фрезеров-

**ЛЕГКО
ЛИ
БЫТЬ
ЗНАТНЫМ
?**

НЕСКОЛЬКО
ЭПИЗодОВ
ИЗ ЖИЗНИ
ТОКАРЯ
ЯРЫГИНА...

щик Лев Дьяченко, — почему все-таки Ярыгин? Того ли выбрали? Лично я убежден твердо: того самого! Хочешь знать, почему? Объясню.

Вокруг них как-то сами собой столпились рабочие.

— Кто-то, а мы с тобой, — снова обратился Лев к скептику, — знаем Володьку Ярыгина с ремеслухи. Тридцать три года, согласись, как-никак срок. Так вот. Кто из нас, припомни, первым в цехе личное клеймо получил? Ты? Я? Нет. Первым в нашем цехе, да и на заводе, получил его все-таки Ярыгин. Ведь он без брака по крайней мере четверть века до этого работал.

— Аргумент, — ответил скептик.

— Значит, это раз. Загнем для по-

рядка палец. Теперь приведу второй довод. Кто первым в цехе, да и опять таки на всем заводе, получил у нас звание «Мастер — золотые руки»?

Фрезеровщик в знак подтверждения махнул рукой:

— Ладно, загибай второй палец!

Бывший тогда начальником цеха Фоменко вынес из своей конторки бумагу на министерском бланке. Нашел нужное место и прочитал вслух:

— «Все «подушки» подшипников жидкостного трения, идущие к прокатным станам для нашей страны и на экспорт, проходят финальную обработку на станке тов. Ярыгина В. М.».

— Пойдем дальше; ты вот, допустим,— спросил Дьяченко скептика-оппонента,— сколько за прошлую пятилетку рацпредложений в БРИЗ подал?

ли: в чем, мол, дело? «А вот видите это клеймо? — отвечаю.— Оно показывает, что эти детали обработал наш пероклассный мастер». Приставили турки к «подушке» измерительную скобу, а потом и проверять перестали. Увидят на детали знакомое клеймо и тут же отправляют ее на монтаж. А детали эти были с клеймом Володи Ярыгина!

...Сам Ярыгин, конечно же, не знал о том споре.

Дома жена хлопотала на кухне. Он тоже решил помочь Нине, но вскоре зазвонил телефон. Супруга полусерьезно сказала:

— Иди бери трубку, товарищ депутат! Наверняка это к тебе на ночь глядя избиратели рвутся!..

Звонили действительно ему, и, как точно угадала Нина, по депутатскому делу. Он — депутат из тех, кто всег-

Помнишь, ты послушать обещал, когда выучу?

Владимир Михайлович удобно устроился на диване, с удовольствием слушая в исполнении дочери знакомую мелодию любимой им листовской «Землянки». Вот и Наташу эта песня тоже, видимо, по-своему волнует. Впрочем, не так, конечно, как фронтовиков или сверстников Ярыгина — детей войны.

...Ярыгин вдруг отчетливо увидел самого себя пацаном в подшитых резиной, стоптанных валенках и густо залатанных матерью штанах в тамбовском селе Пахотный Угол. Батя погиб в сорок первом, а оставшаяся солдатской вдовой мать с трудом везла в гору многогоротый «воз» большого семейства.

Зимой за десять с гаком верст от обожженного войной тамбовского се-

в руке, сказала: «Будем, ребятки мои хорошие, сообща совет держать!.. В общем, зовут нас родичи из подмосковного села Бабеево к себе на постоянное проживание. Будете, дескать, жить под боком, чем сможем — подсобим! От себя добавлю: правы они, родичи, в чем-то — тяжело мне с вами тут одной...»

И семейный совет постановил: ехать всем скопом под Москву. Как решили, так и сделали.

В Бабееве Володе повезло: познакомился он там и даже подружился, несмотря на большую разницу в возрасте, с одним очень добрым и позитивно мудрым мужиком. Это был сосед Федор Иванович Славнов, мастер ремесленного училища. С мальчишками обращался он вроде как со взрослыми, с обязательным к ним почтением. Оттого, что видел в них людей своей рабочей кости — будущих станочников, сталеваров. Советы дельные каждому давал. Володе он сразу же, только лишь пригляделся к нему, решительно порекомендовал: «Иди к нам на токаря учиться! Золотая, я тебе скажу, профессия, истинно заводская и везде, куда ни попадешь, нужная!..»

Много лет прошло с той поры, но память Ярыгина цепко хранит каждую маломальскую подробность, каждое лицо. Но мысли Ярыгина все же о будущем.

Недавно комсомольцы пятого механосборочного цеха пригласили его на свой молодежный вечер, посвященный рабочей чести.

Неожиданно в первом ряду зала поднялась девушка в белом свитере, с короткой мальчишеской прической, задала Ярыгину вопрос:

— Владимир Михайлович! Вот вы, говорят, за смену почти всегда две нормы даете. А нас учат, что нормы должны быть напряженными, научно обоснованными, тютелька в тютельку. Может, у вас норма особая, индивидуальная?

Ярыгин уловил скрытую иронию в вопросе девушки.

— Иными словами, вы хотите сказать, что норма у меня легче, чем у других? Мол, дают в цехе поблажку? Нет, никто и никаких поблажек мне не дает. Норма у меня тоже напряженная. Кстате говоря, она не раз пересматривалась. В сторону увеличения, конечно. И тем не менее я действительно обычно за смену выполняю два задания. Не за счет какого-то сверхнапряжения, а прежде всего за счет технической мысли. Стараюсь искать в работе кое-какие новинки, ну и, понятно, кое-что нахожу. К примеру, основная моя деталь, как вы знаете, подушка для подшипника. Огромная подушка, в полтонны весом. По технологии на ней припуск надо оставлять и лишь потом снимать его, этот припуск, шлифовкой. А я пораскинул мозгами и придумал для этого свое приспособление — шлифовальную машинку. Машинка эта уменьшила припуск в девять раз. В общем, как говорил когда-то Аркадий Райкин: «Соображать надо!» Будешь соображать — и дело пойдет!

В зале раздался дружный смех. Девушка, улыбнувшись, кивнула головой и села на место.

...По дороге домой вспомнил тогда Владимир Михайлович свою юную оппонентку в белом свитере, вспомнил живую реакцию зала на свой ответ, горящие глаза мальчишек и девчонок и с некоторой грустью подумал о том, что настанет время, когда он и его товарищи уступят им дорогу, передадут в их руки свое дело. Одно утешает: будет среди них, конечно, и его сын Игорь, а может, и дочь Наташа...

Юрий АНОХИН



— Ну, четыре, а что?

— Да то самое. А дважды Герой Ярыгин подал семьдесят. Причем все они внедрены. Вот и смекни теперь, что к чему!

— К стенке припираешь, Лева! Четвертый палец загибаю.

— Тогда загибай и пятый,— вклинился в общую беседу начальник ОТК цеха Василий Иванович Бочаров.— Я тоже вам одну байку расскажу. Все вы, конечно, знаете о том, что наши станки в тридцать стран экспортируются, даже в Японию и США. Так вот. Был я в Турции. На монтаже трубопрокатных станков. Как-то турки заметили, что я, подбирая детали, некоторые пропускаю, даже не замерив толщину стенок. Спроси-

да помнит об избирателях, поэтому и в дни приема Ярыгину ждать людей не приходится, да и домой звонков масса. На заводе рассуждают так: депутат свой, рабочий — поймет! Вот и звонят домой запросто. То как депутату городского Совета, то как члену горкома партии, то как внештатному секретарю Московского областного совета профессиональных союзов.

...Вечером молодые стали собираться домой — утром всем ни свет ни заря на смену,— Ярыгин хотел было присесть с газетой на диван, но к нему подошла Наташа, младшая и, как все младшие, любимая дочка.

— Пап, а пап! — сказала Наташа.— Ты знаешь, я «Землянку» разучила!

ла, из заснеженного, выстуженного леса вместе с матерью таскали они, ребяташки, кто на горбу, кто на санках хворост. В соседнем с деревней рабочем поселке меняли хворост на хлеб, муку, сахар, соль, спички. Тем в основном и кормились. Впроголодь, правда, но зато надежно: дрова-то в зиму всем нужны.

А когда солнечная весна согревала тамбовский чернозем талыми водами и вдовы Пахотного Угла из-за полного отсутствия гужевого транспорта сами впрягались в плуги, Ярыгины тоже выходили всей семьей в поле и работали на пашне до глубокой осени. Вкалывали на совесть.

Вспомнилось, как вскоре после войны вошла в избу мать с письмом



ПУШКИНСКИЙ ДОМ

Андрей БИТОВ.

Рисунок Левона ХАЧАТРЯНА.



«Пушкинский дом»
Андрея Битова —
из тех произведений, которые долго
не могли найти издателя.
Мы предлагаем читателям главу
из романа
(полностью он публикуется
в журнале «Новый мир»).

ПРОЛОГ, ИЛИ ГЛАВА, НАПИСАННАЯ ПОЗЖЕ ОСТАЛЬНЫХ

Путру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге.

Н. Г. Чернышевский. 1863.

Где-то ближе к концу романа мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрел в упор и не мигая седьмого ноября на вышедшие на улицы толпы... Уже тогда казалось, что эта ясность не даром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, и еще в том смысле не даром, что за нее вскоре придется поплатиться.

И действительно, утро восьмого ноября 196... года более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром «назлу надменному соседу», а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, — на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно легко и прижавшись к земле в касание. Он упал, как тот самый самолет, налетавший... Словно самолет тот разросся, разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул на землю, еще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер, цвета самолета. Детское слово «Гастелло» — имя ветра.

Он коснулся улиц города, как посадочной полосы, еще подпрыгнул при столкновении, где-то на Стрелке Васильевского острова, и дальше понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов, ровно по маршруту вчерашней демонстрации. Проверив таким образом безлюдье и пустоту, он вкатился на парадную площадь и, подхватив на лету мелкую и широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушечную стенку вчерашних трибун и, довольный получившимся звуком, влетел в революционную подворотню и, снова оторвавшись от земли, взмыл широко и круто вверх, вверх... И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще погонял бы его вчерашний потерянный детский «раскидайчик» и рассыпался бы, окончательно просыревав, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... А ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по слободе, чтобы снова спланировать на город где-то на Стрелке, описав таким образом нестеровскую петлю...

Так он утюжил город, а следом за ним по лужам мчался тяжелый курьерский дождь — по столь известным проспектам и набережным, по взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими пятнами противотечений и разрозненными мостами; потом мы имеем в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... Плот терся о недобитые сваи, мочал сырую древесину; напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец — ныне научное учреждение; в том доме на третьем этаже хлопало распахнутое и разбитое окно, и туда легко залетали и дождь, и ветер...

Он влетал в небольшую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные листы — несколько страниц прилипло к луже под окном... Да и весь вид этого (судя по застекленным фотографиям и текстам, развешанным по стенам, и по застекленным же столам с развернутыми в них книгами) музейного, экспози-



[КУРСИВ МОЙ.—А. Б.]

Мы склонны в этой повести, под сводами Пушкинского дома, следовать осященным музейным традициям, не опасаясь перекличек и повторений,—наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, «в ключе» и может быть истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас здесь темой и материалом, а именно: явлений, окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость воспользоваться даже тарой, созданной до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое себя, служит нашей цели.

Итак, мы воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи, тайне, в которую уперлось современное естествознание: когда материя, дробясь, членясь и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать от попытки разделить дальше: частица, волна, квант,—и то, и другое, и третье, и ничто из них, и не все три вместе... и выплывает бабушкино милое слово «эфир», чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой.

И мы разливаем этот несуществующий эфир в несохранившиеся бабушкины склянки, удивляясь, что тогда каждому уксусу соответствовала своя несправедливая форма; мы с удовольствием отмываем слово «флакон» в тепловатой воде, любящая идея грани, пока из нее не сверкнет, мыльно и хрустально, луч детства и не осветит радужно желтоватую скатерку, вязанную в чьем-то далеком и немислимом рукодельном детстве, анисовые капли и градусник со старинным цветом ртути, не изменившимся до сих пор лишь в силу преданности таблице элементов и химической верности... И этот радужный луч осветит чью-то тонкую замотанную шею, мамин поцелуй в темя и великий роман «Три мушкетера».

И как удивляемся мы внезапной, такой непривычной неспешности и любовности собственных движений, таинственно прерывающей и останавливающей нашу суету, подсказанной всего лишь формой и гранью этих склянок...

Роман-музей...

И в то же время попытаемся писать так, чтобы и клочок газеты, раз уж не пошел по назначению, мог быть вставлен в любую точку романа, послужив естественным продолжением и никак не нарушив повествование...

Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несвежую газету и полагать, что то, что происходит сейчас в газете и, следовательно, в какой-то мере в мире вообще, происходит во времени романа, и, наоборот, отложив газету и вернувшись к роману, полагать, что и не прерывались его читать, а еще раз перечитали «Введение», чтобы уяснить себе некоторые частные мелочи из намерений автора.

Упоывая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это вещи взаимноизвестные, из опыта автора и читателя.

Поддерживая друг друга, идут они
отяжелевшею походкой; приблизятся
к ограде, припадут и станут на колени,
и долго и горько плачут, и долго
и внимательно смотрят на немой камень,
под которым лежит их сын...

И. С. Тургенев. 1862.

ОТЕЦ

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случилось особых потрясений—она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в равном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала.

Собственно, и принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Левы еще не было или он был во чреве. А у самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости, и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лева.

В младенчестве, правда (Лева был зачат в роковом году), случились с ним, вернее, с его родителями, кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, «во глубину сибирских руд». Лева помнил это глухо: холодно, мама выменяла кимоно (огромные шелковые цветы) на картошку, а он, Левушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу три рубля,—вот этот уголок воды, уголок серого сплошного забора и камушек, о который больно зашибся от радости, да цвет трехрублевой бумажки он и запомнил. Не мог он ни помнить, ни понимать, что отцу «еще повезло», что таких «мягких» мер вообще не бывает и то, что с ними произошло,—большая удача и счастливый случай, потому что хотя бы, что деда Левушкиного «взяли» еще в год свадьбы родителей, почти десять лет тому, а их вот все эти годы «не трогали». (А то, что деда взяли еще тогда, это деду тоже «повезло», потому что «вовремя», позже с ним бы «не так обошлись», а так он переключал из ссылки в ссылку, и только...) А то, что вестей от деда не было, тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда, а для них: мало ли, как он там и что он там... Не говоря об остальных, «закордонных», родственниках, откуда можно было ждать любого подвоха. В общем, «могло быть хуже». Но Лева эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого ни помнить, ни понимать и потом, когда бы мог, если и не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись при нем еще лет десять, а все, что было лично с ним, с Левой, обратилось каким-то образом в так называемое «военное детство». Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семьи не было.

Все в конце концов по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование «живого» деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать по-прежнему в университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец (единственное, что знал Лева о деде); сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в университет к своему отцу; мама будто бы ничего не делала и старела.

Лева рос в так называемой «академической» среде и с детства мечтал стать ученым. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед, не «гуманитарием», а скорее уж биологом... Эта наука казалась ему более «чистой», вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивая ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лева заваривал себе чай покрепче и пил его через макароны, и ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камиллавка. «Как отец, но покрупнее, чем отец...»

Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это «Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких Павок и Павликов (не сознавая, что его заслуга—вторая: этих книжек просто не было в доме Одоевцевых; причина не объявлялась и не выяснялась—она исполнялась...). И, быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже с удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который в его представлении полагались столь крупные почести, оказался и не таким тяжким, даже не скучным (последнее каким-то образом казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества). Еще его поразило у Тургенева слово «девицы» и что девицы эти время от времени пили «подслащенную воду». Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше тургеневского тем, что в то время надо было быть таким великим, седым и бороатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький (пусть и очень способный...) мальчик, как Лева, и еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано понимать... Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Лева с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал «всего» Пушкина и сделал в школе доклад к столятидесятилетию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, кото-

ционного зала являл собою картину непонятного разгрома. Столы были сдвинуты со своих, геометрией подсказанных, правильных мест и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже опрокинут ножками вверх, в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а рядом с ним, на рассыпанных страницах, безжизненно подломив под себя левую руку, лежал человек. Тело.

На вид ему было лет тридцать, если только можно сказать «на вид», потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня—белая трава... В спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь, в углу рта заплеснело. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее... Другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, причем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурок папиросы «Север».

Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех... Что делать? Куда заявить?..

Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые в это измочаленное и мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.

Мы много больше рассказали здесь о погоде, чем об интересном происшествии, ибо оно займет у нас достаточно страниц в дальнейшем; погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль в повествовании хотя бы потому, что действие происходит в Ленинграде...

...Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.

рый так легко ему распахнулся и предстоял: все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была «сила воли», магическая духовная категория тех лет, почти единственная, которую уловил Лева извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только и виднелась что черная камилавка, преподавал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Мересьеву на отсутствие ног, не хватало Лева на наличие рук. Тогда ли он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных... Но это было бы уже слишком психоаналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям...

Из газет Лева любил читать некрологи ученых. (Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили — не ругали, не хвалили, — и он отнесся к ней как к чему-то очень внешнему и не подлежащему критике, не столько даже из осторожности — этому его тоже вроде не учили, — сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, «аполитичности», следует еще рассказать особо, пока же — отметим.) В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения и тогда воображал себя не иначе как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь — каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминались и неутомимый труд, негибкая воля и мужество, но это как-то само собой разумелось, такое и маленький Лева понимал, что без этого самого «труда» все «лишь пустое мечтательство», но главным в этих мечтах оставались все-таки крепкий чай, камилавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям (или, как принято говорить почему-то, «заслуженным»), по-видимому, по праву.

Их дом, построенный по проекту известного бенуа с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна, дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по заказу (своего рода «кооператив» тех лет) и кому какое хотелось: кому узкое и высокое, кому фойе, а кому и круглое, — вне всякой симметрии и, однако, с каким-то с легкостью давшимся чувством целого; дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий «либерти» — в лепке, в решетках балконов и лифтов, в местах уцелевших мирискуснических витражах, — этот милый дом был населен многочисленной профессурой: вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками (хоть и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно), — потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого Ботанического сада и института.

Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Лева. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремющей техники люди заняты своим серьезным делом, своими растениями... Во время выборов в Советы в Ботаническом институте помещался их избирательный пункт, и Лева вместе с родителями поднимался тогда по широкой ковровой лестнице и с почтением всматривался в портреты выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфузорию, но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться и дать место Левиному портрету?.. Сердце сладко замирало и екало от восторга перед собственным будущим.

Поскольку глава называется «Отец», следует сказать вот что: Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор, как он себя помнил, он был влюблен в маму, и мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол, статист без реплики, и лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал заигрывать с Левою, долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и наконец говорил пошлость, и Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста, так что со временем каждая мимолетная встреча с отцом (отец всегда был очень занят) выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть будто отец не был способен даже правильно по-

трепать Лева по головке — Лева ежился, — посадить на колени — всегда причинит Левушке какое-то физическое неудобство, Левушка напрягался и становился сам себе неудобен; даже «здравствуй» и «как дела» не получалось у отца, а все как-то застенчиво-фальшиво, чтобы Лева смущался, потуплялся или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лева, что когда-то получалось у отца на одной коленке: «По гладенькой дорожке — по гладенькой дорожке, по кочкам — по кочкам, в я-му — бух!» — силы хватало... Но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не надоедало ему (так, что ли, радовался, что получалось?), приходилось Левушке кончать игру первым.

Так все детство, часто и понемногу видя отца, не знал Лева даже, какое у того лицо: умное ли, доброе, красивое ли... Увидел он его впервые — однажды и вдруг. Отец уже почти три месяца читал лекции в подшефном институте где-то на юге, мама в тот день решила вымыть окна, Лева ей помогал. Они вымыли окно и взялись за второе... Комната была освещена пополам: пыльным, клубящимся светом и открытым, промытым, веселым солнцем, — и тут, произведя ветер своими широченными чесучовыми брюками, ворвался отец, помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от благодарных. В ромбике сверкнуло солнце, и отец наступил белым туфлем в лужицу около таза... Они, значит, с мамой стояли на пыльной половине комнаты, а отец, следовательно, на мытой и весенней... Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала «Здоровье». Чересчур загорелый и седой (он рано поседел), с юным гладким лицом, большой и громкий, в белой, как его волосы, оттенявшей и так шедшей ему рубашке «апах»... Здесь положено описать в вырезе крепкую мужскую, желанную шею... Нам, напротив, шея была. Лева слишком смотрел на отцову туфлю: на ней быстро намокал зубной порошок. Лева слишком представлял, как отец слюнит зубную щетку и трет туфлю... Вот и запомнил он такого отца, чтобы еще лет десять не замечать, какой он сейчас, а представлять себе именно таким, как запомнил тогда: загорелым и уверенным, — будто они с тех пор растались навсегда. И то, наверно, потому запомнил, что отец в ту секунду в маме отразился незнакомым Лева смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела и выстарелась она на глазах, старенькая девочка на пыльной половине... А, главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и запомнил. Окно в тот день осталось немытым... Как мгновенно, однако, отражается в нас, бессловесно и неосознанно, жизнь чужой, чьей-то тайной любви — мы спотыкаемся о погребенную свою, смущаемые чужим блеском, потом замыкаемся: поздно, не для нас... Впрочем, забегаем: это еще не для Левы, — но почувствовать он тем более мог.

И тут еще эта история «с рублем» обрамила и застеклила случайный этот образ загорелой шеи отца, кем-то, неведомо кем, любимой, уверенной в этой любви к себе шеи... И рубль-то почти ни при чем, однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой, крупнее десяти. Дворовая соседка, лестничная площадка, с пятого этажа, старая кляча, сука, высосанная тремя детьми — и ее надолго потом возненавидел Лева за этот рубль! — остановила его, прижала где-то в подворотне и, пока Лева стыдился ее, рассказала (и не помнит теперь, к какому слову у нее это пришлось...), как видела в парке культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, его отца с молодой дамой, и отец подал нищему целый рубль! Огромность рубля была особенно ненавистна, оскорбительна и возмутительна соседке... Парк, молодая красавица, ресторан на воде, рубль нищему — такое значное количество другой жизни ослепило и Лева, и он пошел домой раздавленный. И то сказать, время еще было тяжелое, немногим послевоенное... Ах, как он, Лева, потом, очень потом, через четверть века, узнал, что все они были не стары тогда — молодцы! И отцу — под сорок, и маме — тридцать пять, а проклятой соседке тридцати не было.

Он молчал три дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказала: «Что с тобой?» Он поотнекивался, чтобы чуть ли не охотно расколоться на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы, и последовал выговор, суровый и умелый, и было в этом, сколь теперь понятно, большое для нее облегчение. Безупречность логики, мерность справедливости, ясная форма обвинений были тому облегчению доказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно-спокойно, как дыхание на

зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало по-вечерело, все потускнело.

Однако нового изображения отца, чем в тот приезд, не возникало, предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он любил маму... Мама-ласточка, круглые глаза, двадцати лет, в какой-то чалме на голове... Сличая эти два фото, Лева не мог не удивляться перемене: будто красавец — теленок в котелке и с тростью, с ягодными уголками губ, с есенинской чистотой и обреченностью в глазах и этот сытый, загорелый бугай в чесучовых клешах («видный мужчина») — одно лицо. Будто родился его отец сразу в двух веках — и в прошлом, и в сегодняшнем, будто именно эпохи имеют лицо, а один человек нет.

Лева так однажды решил: что он очень не похож на отца. Даже не противоположность — не похож. И не только по характеру, что уже понятно, но и внешне совсем не похож. У него были основания так считать по фактическому несхождению черт, глаз, волос, ушей — тут они действительно имели мало общего, но главным, что ему хотелось (быть может, и втайне от себя) как-нибудь ловко проигнорировать, было не это, формальное, а подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт. Его, подростковое и юношеское, растущее раздражение тем или иным жестом или интонацией отца, неприятие, все более частое, самых невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это развивающееся, неумолимое фамильное сходство, а отталкивание от неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем образования и становления характера... Тут и мама играет совсем определенную роль. Постоянно раздражаясь на отца за неизбежность его привычек, как то: есть стоя, с ножа или пить из носика чайника, — почти не замечала она, если то же самое проделывал Лева. И тут сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли не то самое, за что делала вид (да ей уже и не приходилось от натренированности годами, делать его), что не любит отца. Если же Лева ловил в себе отцово движение: скажем, пил, озираясь на кухню, из носика, — то это означало, что раздражение к отцу в нем дополнительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство.

А люди, по-видимому, поровну отмечали и разительное Левино несходство с отцом, и разительное сходство. Но когда пятьдесят на пятьдесят, мы выбираем то, что хотим. Лева выбрал несходство и с тех пор слышал от людей только, как они с отцом не похожи.

Дошло до того, что, будучи уже студентом и переживая свою первую и злосчастную любовь, поймал он себя однажды (случай запоздалого развития) на мысли, что он неродной сын своего отца. И, даже пронзенный собственной пронзительностью, догадался, как-то раз, кто же был его истинный, родной отец. К счастью, тайну эту поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, отворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пытался он этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой любви... Впрочем, ее это мало тронуло. Но это мы опять сильно забегаем.

Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что когда жизнь пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехала по Лева (годам к тридцати), а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева с жалостью и болью все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим...

В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец — это его отец, что ему, Лева, тоже нужен отец, как оказался однажды нужен и отцу его отец, Левин дед, отец отца. Но об этом важном «тоже» надо рассказывать отдельно.

Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу — написать знаменитую трилогию «Детство. Отрочество. Юность» нашего героя, то встали бы перед определенным рода трудностями. Если кое-что помнил Лева из «Детства»: переселение народов — в пять лет, свое соблазнение — в шесть; подголаживания, драки; несколько избушек, теплушек и пейзажей, — из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытив ее поэтическими испарениями босоноготы, пятен света и запахов, трав и стрекоз («Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!»); если отчетливо и

подробно, уже на наших глазах, прошла его «Юность» и ей мы еще посвятим... то об «Отрочестве» Лева почти ничего не помнил, во всяком случае, помнил меньше всего, и мы бы имели затруднения, как теперь принято говорить, «с информацией». Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем. Итак, отрочества у Левы не было — он учился в школе. И он окончил ее.

Итак, сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли. Доли — и доли: доли в общем деле — и доли в общей судьбе. Первая — недооценена, как и всякая историческая работа, вторая — так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости.

Так или иначе, они ведь себя «положили»... Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюками), не только через годы последовавшей свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости **другого**: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки на право по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки!.. — и были легкомысленны, а борьба была серьезна. Пусть сами «борцы» не сознавали свою «роль»: в том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет... Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения с тем, чтобы через два-три года «Москвошвей» и «Ленодежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как наше, это хотя бы много лишних брюк...

Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомянем о «второй» доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле — части, куске общего пирога, а о доле — судьбе, доле-долюшке. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров... Их раскидало, расшвыряло, и они выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службой лепту и в сегодняшний день. Появились они сейчас в том героическом виде — как были бы они жалки, среди такого-то достоинства лий импорта, валюты, фарцовки, терилена, лавсана!.. Если вспомнить их боевую молодость, то все это достается сейчас (в смысле «достать, доставать»), можно сказать, даром... И они имеют право, как ветераны, бить себя в грудь пьяной культею в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилин для Советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу...

Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого — сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому, лучшему, своему героическому времени.

Не заметить его было невозможно. Он торчал. Все замирали, и оборачивались, и так оказывались поражены, что даже не смеялись; рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем, — он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что — господи! — можно сказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как королева языком слизнула... потому что он был все тот же. И что пятнадцать лет прошло — было еще пустяки, а вот что за эти пятнадцать лет прошло — это было да! Это была эпоха! Как постепенно, как мгновенно она прошла — никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг, в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало, или, как тогда говорили, «прошвырнулось» прошлое...

Это был тот самый пресловутый «стиляга» начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до коленей зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, тою же походкой — в самом карикатурном, даже для того времени, в самом «крокодильском» виде, который и на рыжик-то у ковра давно уже вышел из моды. «Вяткин...» — вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так, всерьез.

Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда... Так и не смеялись, все были смущены — он был сумасшедшим. Он был инвалид. Господи! — подумал я, как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а, главное, когда они любили! Сойти с ума... Да ведь если не прятаться за новый покров, то вот так и привержены, как этот сумасшедший...

Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус... Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить! Пусть он отстаивал свободу «всего лишь» вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах (хотя бы большую вату...), и он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетели, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более легкую!) за последующее расширение брюк, но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла...

Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить опыт... Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через двадцать после того времени, небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой, человека три-четыре. Что-то задержит на их лицах наш взгляд... Мы решительно никогда их не видали и не знаем их в лицо, однако это именно они — самые знаменитые люди Невского того времени! И Бенц, и Тихонов, и Темп... Вот ведь, не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое поколение имена тех вратарей и тех центрфорвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд...

Где они были эти -адцать лет? Почему я их не видел ни разу во все эти бурные годы? А где был я?.. Вот они стоят, неузнаваемые, лысоватые, одутловатые, сороковатые — э-ле-гантные: все-таки раньше других пестовали свой вкус... Легкий душок фарцовки можно, если попристальней, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимонном из магазина «Советское шампанское», что за углом. Ах, осторожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок!.. Постояли, посмотрели из своего прошлого, чуть более длинным взглядом, на Невский, ничем не отличились от толпы, сели в «Волгу» с частным номером и укатили, оставив в моей душе язву о стольких годах чьей-то и моей жизни.

Да, годы прошли не даром, мы лучше оделись, это стоит жизни... Господи! Недопустимо так унижать людей!

Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лева благополучно оканчивает школу и поступает в университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем отчаянным, не впадал в смешную крайность — он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме, хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно... Мы с уверенностью не скажем, что и когда воспитывает нас. В университете уже, в пору «Юности» (журнала), приучался он расправляться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем.

Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас давно уже все ходим. Надеваем его на Леву и пойдем дальше... Ведь даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще лет пять, был вынужден одеться, как все. Правда, и сейчас в его наряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку, когда, скажем, на три, и приверженность к «добротным» материалам: драпу, шевиоту...

Лева сшил себе первый костюм в одна тысяча девятьсот пятьдесят пятом году по английскому журналу на пятьдесят шестой год, и так ему пошел этот костюм, что покорило он первое сердце, или, вернее, это первое сердце покорило его. Фаина...

Так что хотя, поступив в университет, Лева вроде бы и приблизился к своей детской мечте о науке, но тут же ему стало не до того. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным, (Лева еще не был критичен), просто стало лень. Да и пора уже было начать, если и не понимать, то улавливать, что с этими академическими ермолками — все не совсем так, и то, что творец космогонической теории еще и играет в теннис и любит ездить на лоно природы с этюдником, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит... Хотя отец и не просвещал никогда Леву в этом смысле, ни в какие академические закулисные не посвящал: берег не то Леву, не то себя. А то бы Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от сына

опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило само время. Тут и в Левином доме при всей сдержанности и осторожности что-то не то зашевелилось, не то как-то передвинулся воздух, не то сменили занавески, не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с ваз, разобрали, наконец, антресоли и снова сложили — какая-то лишняя энергия, дополнительный свет...

(Так в кино потом много раз будет в молчаливом просветлении герой подходить к окну и распахивать его одним решительным движением, а оттуда — «журчат ручьи, летят грачи, и даже пень...», но и сам режиссер не будет знать, зачем он это делает каждый раз, как только паралитик опять стал на ноги или наконец запустили новую поточную линию по проекту сценариста... — а потому что вот с этого времени стало можно распахивать в фильмах окна.)

Время становилось все болтливей, иногда спохватывалось и тогда пугалось и озиралось, но, увидев, что ничего не произошло, никто не заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с новой, непойманной силой. И Левин отец, ученый временем, хотя и не болтал со всеми, выходил на кухню и слушал некоторое недолгое время, покачиваясь и попыхивая, когда, вернувшись из университета, болтал анекдоты его сын Лева... Так он слушал недолго, шурясь лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет: покуривать табачок, попить чаек и постукивать на машинке. Так что он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попыхивал и шурился, но это ничего не выражало — это было его манерой.

Время стало собираться в компанию — будто раньше не бывало друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы скупиться для удовольствия, как бы духовного родства и удивления ближнему: какой он, оказывается, хороший, умный или талантливый, — любили его для себя. Время болтало, и люди всплыли на поверхность его и счастливо болтались в нем, как в теплом море, дождавшись отпуска умеющие лежать на воде...

Тут и объявляется старик пьяница, о котором мы упомянули вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились в нем по-своему все участники. (А вдруг именно он один и был «к чему»?..) Был он когда-то, когда Левы не было, другом дома, любил бабушку и маму, а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядовитым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в прежнюю квартиру и снова, как десять лет назад, стал соседом Одоевцевых.

Лева пришел как-то из университета — обе створки дверей в квартиру были распахнуты — и увидел незнакомого старика, который, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом таких с детства знакомых (с которыми у нас отношения...) вещей, как зеркало овальное в оправе из золочено-черных виноградных лоз; настольная лампа с двумя резными негритями-амурами (они же авгуры) и длинная полированная, красного дерева тумба, на которой в детстве Лева играл блошками в футбол, и пуговицы особенно замечательно скользили... Старик матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь, перепорхнул тумбу, трепетными и злыми руками обозначил, как надо ее вносить, тумбу. Дворник радостно и тупо слушался его.

Тут увидел Лева отца и мать, готовно и радостно суетящихся, почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разглаженные, чистые лица, чуть ли не с той свадебной фотографии, какими, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же возможности любви... Эта ничем не скрытая, не подавленная, не искаженная отношениями любовь — чистое отражение — поразила Леву в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много потом понял Лева, что любовь к старику была еще и потому так внезапно доступна и радостна, что при чистом по форме бескорыстии могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Одоевцевых, любви именно друг к другу.

«Ну, Лева! Это же дядя Диккенс!» Лева почувствовал жесткую и горячую руку, видел белый, фарфоровый манжет, агатовую запонку... «Держи же!» — И Лева держал в руках овальное зеркало, удобно уцепясь за золотую гроздь; на секунду отразился в нем — отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем, и тут он отличил старика забытым за неупотребимостью словом «изящество»; но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду: неназванное удивительно.

Лева было удивительно в этом старике отсутствием отталкивающего при полной свободе появления — привлекательности. Привлекательным оказывалось все: брезгливость, суховатость, резкость — блатной аристократизм... И этот синий, в редкую полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке сложенный в четыре раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти четыре, накрест, складки, — этот костюм, казалось, войдет в моду лишь в будущем сезоне: так он был элегантен (Левин английский костюм был шит для коров и на корову); и вишневые штiblеты с противомодным носиком, потрескавшимся лаком; и рубашка... боже! Не может быть на ком попало белой рубашки — они не будут до конца чистыми, вот в чем дело!.. И булавка в галстуке (и это был не галстук, а галстух) — для Левы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода. Лицо... Лева уже влюбился в дядю Диккенса. Он был необыкновенно чист, дядя Диккенс. И не то чтобы он «отмылся»; такое сразу видно, — он был всегда чист, зримое отсутствие любого запаха... что странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно худ и смугл; последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на прибор (впоследствии Лева разглядел у дяди Диккенса особую серебряную щеточку для этого); рот складывался в необыкновенную сатирическую гармошку — зубов дядя Диккенс еще не успел вставить; а глаза — миндальные, широко брошенные, хотя и монгольские — были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и косящего... К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам дядя Диккенс был высушен и миниатюрнее, а маленьким назвать его было нельзя... «Куда прешь, падло!» — крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника.

Вещи эти, такие для Левы семейные, оказались на самом деле дяди Диккенса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него еще бывали, а дома не было...

Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашев), или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что — уже не в словах — воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, сидел. В первую мировую, юношей, прапорщиком, был он, значит, царский офицер, в гражданскую вдруг стал красный офицер, демобилизовался позже всех и был пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоювал вторую мировую. Демобилизовавшись, не то где-то присмотрел, не то даже вывез из Германии (с него бы стало) эти три мебели, но квартиры все не было, и он дал их «постоять» Одоевцевым, у которых после возвращения из «эвакуации» ничего, кроме пустой квартиры и как-то выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он раздумился, расщедрился и подарил их Одоевцевым, но тут получил квартиру. Тогда он сказал, чтоб Одоевцевы, к тому времени уже кое-чем обзаведшиеся, дали ему «временно» поставить его подарки, но тут за ним пришли, в пустую и необжитую еще квартирку, и он вернулся туда, где провел предвоенные годы.

Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки Одоевцевым, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями, как то: бритва «Жиллет», набор щеток для волос и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше.

Мама, право, была счастлива от рассказов о том, как дядя Митя на самом-то деле забрал даренные вещи... Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела еще и мелкие поводы проявляться, они были для Одоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что, да, скуп, но как сын казанского трактирщика... и тут он приписывал себе знаменитый анекдот про щип и муху-изюминку, что это

будто бы с его отцом было... — он быстро хмелел, набитый брагой жизни по уши, про кабатчика он преувеличивал... А Лева все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою и что их можно было любить. Личность!

Воздух в квартире еще передвинулся, будто бы одну, заваленную комнатку, про которую всегда помнили, но забыли, разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем, а здесь вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону — прямо в сад... Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком (вензель «Н» с палочкой внизу), и все сходились на кухню. Такого Левы и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое... Даже отец, и будто охотно, покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую и пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая шаги, секретную праздность и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал щуриться... Мама смотрела на дядю Митю с улыбчатой любовью и, когда отводила взгляд через сахарницу или ложечку на отца или Леву, еще не успевала изменить выражения, и свет этот проливался и на них, и все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливо от этих полувыражений полутепла взглядов на полпути и, не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью: мол, какой хороший человек дядя Митя... Левин дом оттаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо — позволить другому все о себе...

Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец — так неестественно, а сам Лева был так несчастен (от ревности, все та же Фаина), — и подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что на самом деле отец его — дядя Митя.

У мамы оказалась «молодая» карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью — красавец, эlegant, благородный сердцеед... Лева постоял с фотографией перед зеркалом, поделал лицо и совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а что без зубов, то немудрено, рассуждал Лева, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а, главное, прозрачностью своей злости был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество: Лев Дмитриевич — не хуже Николаевича...

И не то, чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянея, все большей определенностью и трезвостью к миру. «Говно», — вот был итог, но чуть ли не светлело от этих дяди Митиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало: он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья, — все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило, вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания.

Лева раз при нем заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о «чистой» ботанике... Дядя Митя развеял эти остатки левиного «академического» благоговения, потому что это было тоже «говно». Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт и потому точно знал, что «этот твой» Ботанический институт — говно, банка с пауками: чем тише и эстетичней на верхний взгляд, тем, можешь быть уверен, внутри в тишинке да в глубинке такая грязь, такая паучья возня... оттуда-то и потопал он, дядя Митя, по этапу. «Я хозяйственник. Ну, какое мне дело до Менделя и Морганов? А директор, падло этакое, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов, и упек. А я просто не привыкну сволочам руку подавать. При чем тут Мендель, когда у него по роже видно, что сволочь!.. Вот и возвел на меня напраслину, говно!» И оттого, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Лева свободно и весело, не знаю, как даже объяснить такой эффект.

Четвертый год работают в этом районе Александровские сотрудники археологической лаборатории Ростовского государственного университета. Почти двадцать лет копают курганы Владимир Гугуев, извлекая на свет черепки краснолаковой посуды, амфоры и бронзовую утварь. И вдруг... первый век нашей эры! Драгоценные предметы минувших тысячелетий!

Аккуратно собирает рассыпанный бисер Гугуев, его товарищ по раскопкам Татьяна Прохорова смотрит в зеркало, которое отражало лица женщин первого века. У вещей, подобных найденным здесь, нет аналогов. Древние мастера изготавливали свои шедевры в единственном экземпляре.

— Когда расчищали дидаему, оторопь взяла, — рассказывает Владимир Гугуев, — среди золота мы неожиданно для себя обнаружили разбитые фаланги человеческих пальцев. С таким мрачным ритуалом не приходилось сталкиваться ни разу. Чьи они? Может быть, мастера, творца бесценных украшений? Чтобы никому никогда не выковал он украшение более прекрасное...

Это тоже одна из загадок, ответить на которую еще предстоит исследователям.

На Дону сейчас зарегистрировано сорок тысяч курганов. И редкий из них сохранился в неприкосновенности, грабители хозяйничали здесь варварски. К счастью, частично они по неграмотности проходили мимо основного клада.

Так в свое время случилось и с курганом Пять братьев, расположенным в том же регионе, где сейчас работает экспедиция Е. Беспалого. На дне пробитого шурфа археологи нашли монету с профилем... Николая I. Ясно, что здесь уже побывали грабители. Можно было прекращать раскопки, а можно продолжить, надеясь на удачу. Копать продолжали и не ошиблись. Нашли два погребения. Одно, как и предполагалось, ограблено, зато другое буквально потрясло богатством. В нем — почти четыре килограмма золота! Но не на вес оценивают свои находки археологи. Разве поддается оценке в рублях золотая обкладка колчана с филигранным изображением сцен из жизни древнегреческого героя Ахилла, отлитки грифонов, фениксов и богини Артемиды на тысяче золотых пластин, золотые бусы и ожерелье, поражающее своей красотой?

— Эту печальную страницу в истории курганов мы делим на три периода, — рассказывает Евгений Беспалый. — Первоначально погребения грабители соседние племена, вторая волна — во время великого переселения народов — IV — VII века нашей эры, третий приступ «золотой лихорадки» начался в XVII веке, когда казаки ситом просеивали курганную землю...

Но и в наши дни представители «джентльменского» племени пытаются забраться в курганы, а то и в музей, где хранятся находки древних веков. До сих пор свежо в памяти, хотя прошло уже более десяти лет, ограбление областного краеведческого музея. Там выставили массивные золотые фалары — украшения конской упряжи. Некий ювелир из Батайска, получивший в воровском мире кличку Уздечка, переплавил древние украшения на крестники и открыл торговлю. На этом и полагался. Нужно было видеть лица членов экспертной комиссии, чтобы понять степень их потрясения: вместо уникальных произведений искусства — богато инкрустированные фалары с изображением в различных видах пантеры — перед ними лежали грубо сработанные крестники...

Чрезвычайно редко попадает археологам нетронутое захоронение. Нынешний же полевой сезон оказался необычайно щедрым, что и заставило нас от Александровского кургана поехать в степь по направлению к Таганрогу, где работал Приморский экспедиционный отряд. На полях колхоза имени Шаумяна, где совсем скоро будут хозяйничать мелиораторы, только в этом сезоне раскопано более тридцати курганов. И лишь один из них заносился в журнал примерно ту же эпоху, которую нашли нетронутой в Александровке.

Более двухсот семидесяти золотых предметов ждали своего часа под землей всего на глубине нескольких лопат. Такая добыча и не снится кладоискателям всех времен. Массивные перстни с геммами — три золотых и один серебряный, более десяти золотых нулонов, талантливо сработанных почти две тысячи лет назад, фланкончик для яда...

— И не пытайтесь открыть, — предостерегает наши тщетные попытки Женя Беспалый, — фланкончик с секретом. Не снимешь со шнура — ничего не выйдет.

Археологи не любят подобных сравнений, но скажем — то, что найдено здесь и в Александровке, оценивается в рублях солидной цифрой с шестью нулями. Для них, специалистов, ценность неразграбленных захоронений в другом. Они помогают понять уклад жизни, экономические связи, развитие ремесел, определить направленность почвенной, нараванных торговых троп.

Но малочисленность археологических групп и необеспеченность техническими средствами — не самая гдавная проблема.

— В черте города ведет строительство масса организаций, — рассказывает Гугуев, — порой не успеешь оглянуться, как на пустыре вырос дом или проложена автотрасса.

Конфликты между строителями и архитекторами, и сожалению, еще много. Прошла строительная техника через часть Каратаевской крепости, ростсельмашевский колхоз «Нива» затеял стройку на Ливенцовском комплексе. И список этот можно продолжать. На его фоне гораздо яснее видно, как повезло университетским археологам, опередившим бульдозеры в Александровке.

Александр ЛЕЗВИН



З. К. ЦЕРЕТЕЛИ. СТАРАЯ УЛИЦА. 1986.



ЦВЕТЫ. 1987.

ГОЛОСУЮ ЗА ФОНД!

С интересом я прочитал в № 37 статью Т. Афанасьевой «Благие намерения». Она как нельзя лучше отвечает моим настроениям, возникшим после того, как среди писем, напечатанных в поддержку идеи создания Советского детского фонда, я прочитал очень трогательное письмо отца троих детей, инженера, уже перечислившего в этот фонд скромную сумму — 5 рублей — и обязавшегося делать это ежемесячно. Тогда мне подумалось: из «негустой» инженерской зарплаты будет пожертвована на благо «ничьих детей» пятерка, вовсе не лишняя в семье, где растут трое ребятишек! (Как много средств требуется, чтобы вырастить троих детей, я знаю не по рассказам).

Но точно ли дойдут эти и другие деньги до тех, кому конкретно они предназначены? Тщательно перечитав проект устава фонда, я понял, что мои опасения, как и опасения Т. Афанасьевой, имеют на этот счет вполне реальную почву. Ведь проект устава не дает таких гарантий, поскольку структура фонда оставляет широчайшие возможности для «обрастания» огромным числом технического персонала, требует больших командировочных сумм, учитывая территорию нашей страны, а в недалеком будущем и заграничных командировок с учетом развития международных связей фонда. И «реально запахло» созданием еще одной дорогостоящей бюрократической конторы, которых в стране и без того

более чем достаточно и за сокращение которых мы безуспешно ратуем уже долгие годы! А ведь у детских домов и сегодня огромное количество кураторов, и получается по пословице «у семи нянек...».

Но взявшись за перо меня заставило прежде всего выступление одной из старейших детских писательниц М. Прилежаевой в «Литературной газете». «...Если фонду удастся увлечь и привлечь, — пишет она, — тысячи педагогов, библиотекарей, матерей и отцов, разбудить в них тревожную заботу о воспитании детей и подростков, своих и не только своих, — значит, одна из главных задач фонда будет исполнена. Не сразу. Не в год и не в два. Как решать практически — еще неизвестно. Надо думать и думать, только не остывать, не дать вкрадываться в человеческие умы и сердца недоверию. Едва ли стоит отпугивать людей опасениями, какими страшит нас Т. Афанасьева... Я решительно не согласна с Т. Афанасьевой. Доброму началу полезнее слышать добрые напутствия, знать о человеческом доверии, что обязывает воодушевленное работать над созданием крайнего нужного нового...»

Честно говоря, я был удивлен, что женщина, учительница, мать, бабушка, детский писатель, так восприняла вполне естественное желание

журналистки предостеречь создателей «новой благотворительной организации» от ошибок. Ведь здоровые сомнения всегда идут только на пользу делу!

Благотворительность в России имела давние и славные традиции. Можно привести десятки имен, которые были широко известны и чтимы в России. Например, русская благотворительница Ю. И. Базанова, чей детский приют и до сих пор вспоминают старожилы Иркутска... Благотворители были людьми разными, но неизменным условием истинной благотворительности всегда оставалось главное: пожертвования принимались в любой форме и должны были использоваться только для поддержания тех, кому предназначались, а бюрократический аппарат практически отсутствовал, поскольку фонды распоряжались своими деньгами напрямую, «из рук в руки»...

Я ни в коем случае не ставлю под сомнение искренность и бескорыстие организаторов нашего детского фонда, но вот не оставляет меня мысль: а не пойдут ли те самые пять рублей, о которых я говорил в самом начале, на оплату еще одной личной секретарши или еще одного персонального шофера?..

Александр ГОВОРОВ,
ПОЧТ

Нет нужды говорить о том, что война 1812 года и, конечно же, Бородинское сражение занимают особое место в душе всякого русского. Именно поэтому мы с женой и двумя детьми встали в недавний сентябрьский воскресный день засветло и отправились в неблизкий путь на празднество 175-летия великого сражения. И все, в общем, соответствовало нашему настроению до момента, пока мы не услышали впереди усиленный техникой командный голос, возвещавший, что далее по дороге проходят «только те, у кого имеются пригласительные билеты». Путь нам преградила веревка и плотная цепь сотрудников милиции, через которую просачивался тонкий ручеек счастливых обладателей приглашений. Вот это был удар! Тысячи и тысячи людей добирались сюда лишь для того, чтобы их попросили «отойти и не мешать»? На каком основании? Почему?! На эти вопросы никто ответить не мог. Сотрудники милиции отвечали однозначно: «Таков приказ» — и предлагали повернуть влево, где, по их словам, у стен Спасо-Бородинского монастыря тоже будет что-то организовано.

Чем ближе мы были к высоте батареи Раевского, тем больше нам

казалось, что отмечается День советской милиции — так много ее сотрудников «следило за порядком», как будто народ позволил бы кому-либо хулиганить на этой земле! И опять веревки, разбивавшие пространство перед высотой на сектора с трибунами для «избранных» (как нам разъяснили, «представителей предприятий и районов столицы», а мы кто?), и опять кордоны, только еще более плотные. В 12.00 началась торжественная церемония, и тут стало совершенно ясно, что организована она лишь для тех десятков, максимум сотен людей, которые были на трибунах, и для телевидения. Если звуки оркестра еще как-то долетали до нас, то выступавших мы не только не видели, но и не слышали.

...Вот что испытал и увидел рядовой москвич 6 сентября 1987 года на Бородинском поле. Возможно, устроители не рассчитывали на такой наплыв народа? Возможно, у нас еще не хватает опыта в организации столь массовых мероприятий? Но мы скорее поняли бы и простили какую-то путаницу, чем такую «организацию».

В. МИХАЙЛОВ



ТРИ ВСТРЕЧИ В «ОКТЯБРЕ»

И снова читатели встречаются с авторским активом и членами редколлегии журнала «Огонек». На этот раз в киноконцертном зале «Октябрь» на Калининском проспекте столицы. Три вечера подряд. Более пятисот записок на столе ведущих. Открытый, полемичный разговор, в котором принимали участие, с одной стороны, около восьми тысяч зрителей, а с другой стороны, А. Боровик, А. Вознесенский, М. Гекин, И. Глазунов, Д. Давиташвили, А. Дементьев, В. Долина, А. Жигулин, А. Иванов, В. Коротич, Т. Лещенко-Сухомина, Ф. Медведев, А. Ненароков, В. Николаев, Ю. Никулин, В. Рецептер, А. Рошаль, Р. Рождественский, Э. Рязанов, А. Тарковский, Ю. Черниченко, Б. Чичибабин и другие.





Комиссара Мегрэ соединили по телефону
с человеком, который рассказал,
что его преследуют и хотят убить.
В течение дня неизвестный не раз
давал о себе знать.

Он даже назначил встречу,
но на нее не явился.

Служащие почтовой конторы и кафе,
откуда звонили по его поручению,
рассказали, что это был испуганного вида,
торопливый мужчина в бежевом плаще.

Ночью Мегрэ позвонили домой
из полицейского управления и сообщили,
что на площади Согласия обнаружен труп
человека в бежевом плаще.

Один из проезжавших мимо видел,
как его извлекали из желтого
«ситроена» с парижским номером.

Мегрэ озадачен.

Обычно убийцы стараются спрятать труп,
а тут наоборот: убитого где-то человека
привозят в людное место.

МЕГРЭ И ЕГО МЕРТВЕЦ



олжно быть, подобные фразы ужасно шокировали судью. Лицо его застыло, словно высеченное из куска льда.

— Все, что я вам говорил насчет официантов, касается и владельцев бистро. Не судите за самомнение, у меня все время было такое чувство, что мой незнакомец был не служащим, а имел свое дело. Вот почему в одиннадцать утра я позвонил Мерсу. Рубашка убитого все еще в техническом отделе. Я не помнил точно, в каком она состоянии. Мерс осмотрел ее заново. Заметьте, нам повезло: рубашка могла оказаться новой. Ведь всякий иногда вправе надеть новую рубашку. На этот раз получилось по-другому. Более того, у нее вытерт ворот.

— Полагаю, у владельцев кафе тоже бывает вытертый ворот?

— Нет, господин Комелио. Не больше, чем у других людей. Но они не изнашивают обшлагов. Я имею в виду небольшие кафе, посещаемые рабочим людом, а не американские бары, расположенные на площади Оперы или Елисейских полях. Владелец бара, который то и дело погружает руки в воду со льдом, вынужден засучивать рукава. И вот Мерс подтвердил, что рубашка, у которой ворот вытерт почти насквозь, на обшлагах никаких следов износа не имеет.

К ужасу мадам Мегрэ, муж ее говорил теперь с выражением полной убежденности в своей правоте.

— Прибавьте к этому «брандад», блюдо из трески...

— Это что, особое лакомство у владельцев небольших кафе?

— Да нет, господин Комелио. Просто в Париже полным-полно маленьких баров, где бывает совсем немного посетителей. Столы без скатертей. Стряпает зачастую жена самого владельца. Подают только одно дежурное блюдо. В таких барах временами бывает безлюдно, и у хозяина во второй половине дня появляется досуг. Вот почему с самого утра два детектива обследуют все районы Парижа, начиная с тех, что примыкают к ратуше и площади Бастилии. Вспомните, наш подопечный все время находился именно в этом районе. Парижанин фанатично цепляется за свой район, словно это — единственное место, где он в безопасности.

— Вы надеетесь быстро найти разгадку?

— Я надеюсь найти ее рано или поздно. Все ли я вам рассказал? Надо еще упомянуть пятно от краски.

— Что за пятно?

— На задней части брюк. Его тоже обнаружил Мерс, хотя оно едва заметно. Он уверяет, будто краска свежая. По его словам, эта краска была нанесена на мебель дня три-четыре назад. Я велел навести справки на разных вокзалах, начиная с Лионского.

— Почему именно с Лионского?

— Потому что он как бы является продолжением района площади Бастилии.

— А при чем тут вокзалы?

Мегрэ вздохнул. И так столько времени убито на объяснения. Ни малейшего представления о действительности у этого судебного крючка! Как может человек, ни разу не заглянувший в кафе, брокерскую или на трибуну скачек и не знающий, что значит работать «по части лимонада», утверждать, будто в состоянии понять психологию преступника?

— Мой рапорт должен находиться у вас на столе. Когда человек этот впервые позвонил мне в среду в одиннадцать утра, его уже преследовали. Началось это самое позднее накануне. Вначале он не хотел обращаться к полиции, рассчитывая сам выкарабкаться. Однако он был уже напуган. Знал, что жизни его грозит опасность. Поэтому вынужден был избегать безлюдных улиц. Толпа как бы служила ему защитой. Домой он тоже не смел вернуться, опасаясь, что его выследят. Даже в Париже не так уж много заведений, открытых всю ночь напролет. Кроме кабаре на Монмартре, это железнодорожные вокзалы. Они хорошо освещены, а в залах ожидания всегда народ. Так вот! В зале ожидания третьего класса на Лионском вокзале в понедельник были выкрашены скамьи. Мерс утверждает, что краска идентична той, что обнаружена на брюках убитого.

— Вокзальная прислуга опрошена?

— Да. Опрос продолжается.

— Короче говоря, несмотря ни на что, вы добились определенных результатов.

— Да, несмотря ни на что. Я также знаю, когда этот человек переменял свои намерения.

— Какие намерения?

Наливая в чашку отвар, мадам Мегрэ делала мужу знаки выпить его, пока не остыл.

— Вначале, как я вам уже говорил, он пытался выйти из затруднительного положения самостоятельно. Но в среду утром ему пришлось в голову обратиться ко мне. Он продолжал звонить мне до четырех дня или около того. Что произошло потом? Не знаю. Возможно, в последний раз послал нам своего рода сигнал бедствия — записку с почты в предместье Сен-Дени, он в конце концов решил, что все это бесполезно? Так или иначе, примерно час спустя, часов в пять, он зашел в пивную на улице Сен-Антуан.

— Выходит, наконец-то объявился хоть какой-то свидетель?

— Нет, господин судебный следователь. Это Жанье его откопал. Показывал фотографию в каждом кафе, расспрашивал всех официантов. Короче, человек этот заказал «сюз-ситрон» — это определенно указывает на несомненность его личности — и попросил принести ему конверт. Потом, сунув его в карман, взял у кассира жетон и кинулся к телефонной будке. Позвонил. Кассир слышал щелчок аппарата.

— Но не вам?

— Да, — выдавил Мегрэ. — Не мне. Он пытался связаться еще с кем-то, неужели вам не понятно? Что же касается желтого автомобиля...

— Есть о нем какие-нибудь сведения?

— Нечеткие, но полезные. Вы знаете набережную Генриха IV?

— Где она примыкает к району площади Бастилии?

— Именно. Вы видите, все происходит в одном и том же районе. Создается такое впечатление, что вы движетесь по кругу. Набережная Генриха IV — одна из самых безлюдных, самых тихих во всем Париже. Там нет ни магазинов, ни баров, лишь дома буржуа. Желтый автомобиль мальчиhrассылный заметил в среду точно в восемь десять. А заметил потому, что тот сломался напротив дома № 63, куда ему нужно было доставить телеграмму. Капот был открыт, двое мужчин копались в моторе.

— Он их описал?

— Нет. Было темно.

— А номер заметил?

— Тоже нет. Люди не очень часто думают, как бы запомнить номера автомобилей, которые им попадаются. Важно то, что автомобиль направлялся в сторону моста Аустерлиц. И что было десять минут девятого, а ведь вскрытие показало, что преступление совершено между восемью и десятью часами вечера.

— Скоро ли здоровье позволит вам выходить из дому, как вы считаете?

Комелио несколько поостыл, но, видимо, позиций сдавать не желал.

— Не знаю.

— Какое направление сейчас отрабатываете?

— Никакого. Я жду. Это единственное, что нам остается, не правда ли? Мы зашли в тупик. Мы, вернее, мои люди, сделали все, что могли. Теперь надо ждать и только.

— Ждать чего?

— Чего угодно! Что подвернется. Возможно, это будет свидетель. Возможно, какой-то новый факт.

— Вы полагаете, он появится, этот факт?

— Будем надеяться.

— Благодарю вас. Я доложу о нашем разговоре прокурору.

— Передайте ему мое почтение.

— Надеюсь на ваше выздоровление, господин комиссар.

— Премного благодарен, господин судебный следователь.

Когда Мегрэ повесил трубку, вид у него был мрачный, как у совы. Наблюдая уголком глаза за женой, которая вновь принялась за вязание, он почувствовал в ней какую-то напряженность.

— Тебе не кажется, что ты зашел слишком далеко?

— В каком смысле?

— Признаться, ты его разыгрывал?

— Ничуть.

— Ты все время потешался над ним.

— Ты так считаешь?

Мегрэ, казалось, искренне удивился. Ведь что он сказал, было правдой, в том числе и его сомнения относительно серьезности собственного не-

домогания. Порой, когда расследование не ладилось, он ложился в постель или просто оставался дома. Жена за ним ухаживала. Ходила на цыпочках. Не было шума и суеты полицейского управления, не было бесконечных расспросов и будничных забот. Коллеги навещали его или же звонили. Все были очень внимательны. Справлялись о здоровье. А за то, что, морщась, выпивал несколько чашек лекарственного отвара, жена готовила ему пунш.

А ведь действительно существовало нечто такое, что роднило Мегрэ с его мертвецом. И главное заключалось вот в чем (комиссар осознал это внезапно): он и сам боялся не столько переезда, сколько смены привычной обстановки. Не видеть по пробуждении надписи «Лост и Пепэн», не совершать каждое утро то же путешествие, обычно пешком...

Они оба были привязаны к своему окружению — и мертвец, и сам комиссар. И открытие это Мегрэ было приятно. Вытряхнув трубку, он набил ее свежим табаком.

— Ты действительно считаешь, что человек этот был владельцем кафе?

— Возможно, я чуть преувеличивал свою уверенность, но раз уж я это сказал, то хочу, чтобы так оно и оказалось. Видишь ли, тут все-все совпадает.

— Что совпадает?

— Я же сказал: все. Прежде всего я не думал, что так разболтаюсь. Принялся вдруг импровизировать. Потом почувствовал, что я на верном пути. И стал продолжать.

— Ну, а вдруг он сапожник или портной?

— Доктор Поль так бы мне и сказал. И Мерс тоже.

— Как бы они узнали?

— Доктор установил бы это по рукам, характеру мозолей, деформации пальцев. А Мерс — по пыли, которую он нашел бы в одежде убитого.

— Ну, а если он все-таки окажется вовсе не барменом?

— Было бы худо дело! Передай мне книгу.

У Мегрэ была еще одна привычка — с головой погружаться в чтение какого-нибудь романа Дюма. Дома у него было полное собрание сочинений этого писателя — старинное общедоступное издание с пожелтевшими страницами и романтическими иллюстрациями. Вдыхая запах этих книг, он сразу же вспоминал все недопомогания, случившиеся с ним.

Слышалось, как мурлыкает печь и клацают, задевая друг друга, вязальные спицы. Вскинув глаза на темный дубовый футляр часов, стал смотреть, как раскачивается взад-вперед медный маятник.

— Принял бы опять таблетку аспирина.

— Хорошо.

— Почему ты считаешь, что он звонил кому-то еще?

Добрейшей мадам Мегрэ очень хотелось помочь мужу. Обычно она не осмеливалась расспрашивать его — справлялась лишь, когда он вернется и придет ли к обеду или ужину. Но когда комиссар был нездоров и продолжал работать, она поневоле тревожилась. В глубине души она считала, что муж недостаточно серьезен.

В полицейском же управлении он, несомненно, вел себя совсем иначе: действовал и разговаривал, как настоящий полицейский комиссар!

Этот разговор с Комелио — с кем, подумать только! — встревожил ее. Было ясно: молча ситая петли своего вязанья, она невольно вспоминала про него.

— Послушай, Мегрэ...

Комиссар с трудом оторвался от книги.

— Вот чего я не понимаю. Когда вы говорили про Лионский вокзал, ты сказал, будто этот человек побоялся пойти домой, потому что тогда бандит узнал бы, где он живет.

— Да, вероятно, я так и сказал.

— Вчера ты говорил, что он вроде бы сменил пиджак.

— Да. Ну и что из того?

— А следователя ты убеждал, что незнакомец, по-видимому, ел «брандад» в своем собственном кафе. Значит, он туда вернулся. Выходит, он больше не боялся, что его выследят.

Действительно ли Мегрэ думал об этом раньше? Или же ответил экспромтом?

— Одно вполне связано с другим.

— В самом деле?

— На вокзале он был во вторник вечером. Он мне еще не звонил. Надеюсь, что оторвется от преследователя.

— А на другой день? Думаешь, его больше не преследовали?

— Возможно. Даже вероятно. Только я еще прибавлю, что часов в пять он изменил свое решение. Не забудь: он кому-то звонил и попросил у кельнера конверт.

— Конечно...

Хотя мадам Мегрэ и не была убеждена в этом, она со вздохом произнесла:

— Наверно, ты прав.

Молчание. Время от времени переворачивалась страница, да носок, лежавший в подоле жены, становился чуть длиннее.

Мадам Мегрэ открыла было рот, но промолчала. Не поднимая головы, комиссар произнес:

— Ну, выкладывай! Что ты хочешь сказать?

— Да так, пустяки... Просто я подумала, что он, видно, совершил промах, раз его все-таки убили.

— И в чем был его промах?

— А в том, что пошел домой. Извини, что помешала читать.

Но комиссар больше не читал. Во всяком случае, внимательно. Первым скинул глаза.

— Ты забываешь про поломку машины!

Вдруг Мегрэ почудилось, будто завеса над тайной приподнимается и вот-вот ему откроется истина.

— Нужно выяснить, сколько времени ремонтировали желтый автомобиль.

Теперь Мегрэ разговаривал не с женой, а с самим собой. Та это поняла и старалась не прерывать мужа.

— Поломка — событие непредвиденное, случайное. Это нечто такое, что расстраивает заранее намеченные планы. Выходит, все пошло по-иному, чем им хотелось.

Мегрэ пристально посмотрел на жену. Ведь именно она в конечном счете направила его на верный путь.

— А что, если он погиб из-за поломки этой машины?

Не убирая книги с коленей, Мегрэ захлопнул ее, взял телефонную трубку и набрал номер управления уголовной полиции.

— Дайте мне Люка, дружище. Если его нет у себя, он в моем кабинете... Это ты, Люка? Как дела? Есть что-нибудь новенькое?.. Одну минуту...

Из опасения, как бы его не опередили, комиссар продолжал:

— Пошли кого-нибудь на набережную Генриха IV. Эрио или Дюбонне, если они на месте. Пусть опросят всех консьержей и жильцов. И не только в шестьдесят третьем доме и в соседних строениях, а во всем квартале. Набережная не так уж велика. Кто-нибудь да должен был заметить желтый автомобиль. Мне надо знать как можно точнее, когда он поломался и в котором часу уехал. Погоди! Вот еще что. Возможно, водителю понадобилась какая-нибудь запчасть. Поблизости наверняка есть гаражи. Пусть заглянут и туда. Пока все. Дело за тобой!

— Минуту, шеф. Пройду в другую комнату.

Это означало, что Люка в кабинете не один и не хочет говорить при постороннем.

— Алло!.. Все в порядке! Мне не хотелось, чтобы она меня слышала. Это все насчет автомобиля. С полчаса назад появилась одна старушенция. Я видел ее у вас в кабинете. Только вот беда: она немножко с пылью...

Что поделать! Любое расследование, получавшее хоть какую-то огласку, привлекало в полицейское управление полоумных со всего Парижа.

— Живет на набережной Шарантон, за складами Берси.

Наименование напомнило Мегрэ о другом расследовании, которое несколько лет назад он проводил в одном подозрительном домишке. Вспомнилась набережная Берси, железная решетка пакгауза слева, высокие деревья и каменный парапет справа. Дальше, за мостом (название он забыл), набережная расширялась. По одну ее сторону выстроился ряд двух-трехэтажных вилл. Место напоминало скорее предместье, чем город. Там стояла на приколе целая флотилия барж и повсюду, куда хватал взгляд, тянулись ряды бочек.

— Чем она занимается, твоя старушенция?

— В том-то и записка. Она гадалка и прорицательница.

— Гм!

— Да, я тоже так подумал. Вовсю трещит, уставясь прямо в глаза, так что не по себе становится. Сначала божилась, что вовсе не читает газет, и пыталась убедить меня, будто ей это ни к чему. Ей, мол, достаточно погрузиться в транс, чтоб узнать обо всем, что происходит.

— И ты поднажал на нее.

— Да. В конце концов призналась, что, возможно, заглянула в газету, оставленную у нее кем-то из клиентов.

— И что потом?

— Прочитала описание желтого авто. Старуха заявляет, будто видела эту колыхагу в среду вечером меньше чем в ста метрах от своего дома:

— В какое время?

— Около девяти.

— А тех, кто сидел в ней?

— Видела, как двое вошли в дом.

— Она может указать этот дом?

— Это небольшое кафе на углу набережной и какой-то улицы. Называется «У маленького Альберта».

Мегрэ стиснул в зубах трубку, стараясь не глядеть в сторону жены, чтобы та не заметила вспыхнувшего у него в глазах огонька.

— Это все?

— Почти все, что представляет какой-то интерес. А говорила целых полчаса и с жуткой быстротой. Хотите повидать ее?

— А то как же!

— Привезти ее к вам?

— Минутку. Ей известно, сколько времени автомобиль стоял возле кафе?

— С полчаса.

— И уехал в сторону центра?

— Нет. В сторону Шарантона.

— Не выносили ли из дома поклажу? Понимаешь, что я имею в виду?

— Нет. Старуха утверждает, будто люди эти ничего не несли. Это-то меня и озадачивает. Опять же вопрос времени. Что, интересно, эти типы могли делать с трупом с девяти вечера до часа ночи? Не на пикник же они ездили? Так возьми мне эту старую курицу?

— Давай. Найми такси и придержи. Захвати с собой сержанта. Он может подождать со старухой внизу.

— Вы из дому выйдете?

— Да.

— А как ваш бронхит? — тактично спросил Люка. Он не сказал «простуда». «Бронхит» звучит куда серьезнее.

— За меня не беспокойся.

Мадам Мегрэ начала крутиться на стуле, беззвучно открывая рот.

— Предупреди сержанта, пусть не даст старухе удрать, пока будешь подниматься наверх. Есть такие люди, что любят вдруг менять свое решение.

— Не тот случай. Ей не терпится увидеть в газете свое фото, все свои титулы и таланты. Она спрашивала, где же фотографии.

— Пусть ее снимут перед уходом. Это осчастливит старушку.

Повесив трубку, комиссар с мягкой усмешкой посмотрел на жену, затем перевел взор на томик Дюма, который придется отложить до следующей болезни. С отвращением взглянул на чашку с лекарственным отваром.

— Мне надо на службу! — заявил он, подходя к буфету, и достал оттуда бутылку кальвадоса и рюмку с золотым ободком.

— Вряд ли стоило мне пичкать тебя аспирином, чтоб пропотел!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Всем, кто впервые попадает в управление уголовной полиции, приходится выслушать множество историй об испытаниях на выдержку и выносливость. Одна такая история произошла, к примеру, с Мегрэ лет пятнадцать назад. Дело было поздней осенью. Это худшее время года, особенно в Нормандии, где из-за нависшего над головой свинцового неба день кажется еще короче.

Выслеживая преступника, комиссару пришлось трое суток, точно прикованному, дежурить у ворот сада, расположенного на заброшенной дороге в окрестностях Фекана. Поблизости ни одного дома. Кругом только поля. Даже коров пастихи загнали в хлев. Чтобы добраться до ближайшего телефона и попросить выслать смену, пришлось бы пройти километра четыре. Никто не знал, где комиссар. Он и сам-то не предполагал, что окажется тут.

Три дня и две ночи шел проливной дождь, холодный осенний дождь. Даже табак в трубке намок. Встретились лишь трое крестьян в деревянных сабо. Подозрительно поглядев, они поспешно скрылись. У Мегрэ не было ни еды, ни питья. Хуже того, к концу второго дня не осталось и спички, чтобы раскурить трубку.

Герою другой истории, «истории о придурковатом калеке», был Люка. Чтобы вести наблюдение за небольшим частным домом (он находился на углу улицы Бираг неподалеку от площади Вог), под видом парализованного старика с окладистой бородой его поместили в комнате напротив. Каждое утро сиделка подкатывала его в кресле-коляске к окну и в таком положении оставляла на целый день. Кормили его с ложки.

Так продолжалось десять дней, и под конец Люка по-настоящему разучился ходить.

В ту ночь Мегрэ вспомнились эти и им подобные истории. У него было такое предчувствие, что байка, которую будут рассказывать, станет не менее знаменитой, во всяком случае, в его собственных глазах.

Все это сильно смахивало на игру, в которой он принимал участие и к которой относился со всей серьезностью. Например, в семь часов, когда Люка собирался уходить, комиссар вполне естественным тоном спросил того:

— На посошок?

Стави в кафе он оставил, как прежде, открытыми. В помещении горел свет.словно в маленькой таверне перед закрытием, столы были выровнены, пол посыпан опилками.

— Что будешь пить? Пикон-гренадин? Касси? — поинтересовался Мегрэ, доставая из буфета рюмки.

— Касси.

И, чтобы еще больше войти в роль, Мегрэ налил себе аперитива «сюз».

— Нет ли у тебя на примете человека, который подошел бы для такой работы?

— Шеврье. Его родители держали гостиницу в Морсьюр-Луэн. Он им помогал до самого призыва.

— Немедленно с ним свяжись, пусть собирается. Твое здоровье! Ему надо подыскать женщину, которая умеет стряпать.

— Для него это не проблема.

— Рюмочку вермута?

— Благодарю. Ну, я пошел.

— Пришли ко мне тотчас же Мерса. Пусть захватит свои причиндалы.

Проводив Люка до двери, Мегрэ постоял, разглядывая пустынную набережную, ряды бочонков, сонные баржи, ошвартованные у стенки.

Это было небольшое кафе, какие попадаются на каждом шагу, правда, не в самом Париже, а на окраинах. Не кафе, а картинка. Дом — в нем было всего два этажа — стоял на углу улицы. Красная черепичная крыша, покрашенные охрой стены, по которым выведено коричневыми буквами: «У маленького Альберта». По обеим сторонам названия наивные завитки: «Напитки, закуски в любое время».

На заднем дворе под навесом комиссар обнаружил зеленого цвета кадки с кустами. Очевидно, летом их выносили на тротуар; получалось нечто вроде террасы, куда выставляли два-три столика.

Теперь пустой дом находился в распоряжении комиссара. Несколько дней тут не топили, и воздух был холодный и сырой. Мегрэ посмотрел на стоявший посередине помещения большой очаг, над которым поднимался черный дымоход, исчезающий в стене.

В самом деле, почему бы и нет? Ведь угля в ящике достаточно. В том же самом сарае отыскал дрова, топор и чурбан для колки дров. В углу на кухне обнаружил старые газеты.

Спустя несколько минут в очаге плясало пламя. Сложив по обыкновению руки за спиной, комиссар встал перед топкой.

Старуха, которую откопал Люка, оказалась не такой уж полоумной. Они побывали у нее в доме. По дороге, в такси, она болтала без умолку, время от времени искоса поглядывая на своих спутников, чтобы выяснить, какое произвела на них впечатление.

Дом ее находился менее чем в сотне метров от кафе. Это был двухэтажный коттедж с небольшим садиком. Любопытно, каким это образом она сумела разглядеть с такого расстояния, что происходит на мостовой, да еще в темноте.

— Ведь все это время вы находились не на улице?

— Нет.

— И не стояли в дверях своего дома?

— Я была у себя.

И правда, в выходившей окнами на набережную необыкновенно опрятной комнате со стороны кафе «У маленького Альберта» имелось еще одно окно, откуда просматривался изрядный участок улицы. Жалюзи в комнате не было, и вполне естественно, что стоящий с включенными габаритными огнями автомобиль привлек внимание старой женщины.

— Вы были одни?

— У меня сидела мадам Шоффье.

Акушерка, которая живет в соседнем квартале. Факт проверен и подтвержден. Дом старухи вопреки тому, что можно было бы предположить по внешности ее обитательницы, ничем не отличался от любого жилища одинокой женщины. Побрякушек и амулетов, какими любят окружать себя гадалки, тут не было. Светлого цвета мебель явно приобретена в известном магазине на бульваре Барбес, пол покрыт желтым линолеумом.

— Это должно было случиться,— проговорила старуха.— Читали, что у него написано на кафе? Если он не посвященный, значит, он совершил кощунство.

Хозяйка поставила на огонь воду. Ей непременно хотелось угостить кофе комиссара Мегрэ. Она объяснила, что «Albertus Parvus»¹— это название книги о магии, написанной не то в четырнадцатом, не то в пятнадцатом веке.

— А что, если его действительно звали Альберт? И он действительно был маленького роста?

— Знаю, он маленький. Я часто его видела. Но это все равно не причина. Есть вещи, с которыми шутки плохи.

О жене Альберта старуха отозвалась так:

— Рослая брюнетка, довольно неряшливая. Я б ее стряпню есть не стала. Потом от нее всегда несло чесноком.

— Долго ли были закрыты ставни?

— Не знаю. На другой день после того, как я видела автомобиль, я заболела гриппом. Когда поправилась, кафе было закрыто. Ну и слава богу, подумала я.

— Там было шумно?

— Нет. К ним почти никто не заглядывал. Хотя погодите, кафе посещали рабочие, которые работают на том кране на набережной. Они тут обедали. Потом бармен из Сесса, виноторговцы... Заходили промочить горло матросы с барж.

Старухе непременно хотелось знать, в каких газетах поместят ее фотографию.

— Только пусть не пишут, что я гадалка. Ведь это все равно, если вас назвать полицейским.

— Я б не стал обижаться.

— Но это повредило бы моей репутации.

Со старухой было покончено. Кофе ее Мегрэ выпил. Вместе с Люка они отправились в дом на углу. Люка машинально повернул ручку, и дверь отворилась.

Странное дело: быстро самое малое четыре дня оставалось незапертым, однако, по-видимому, никто сюда не наведывался— бутылки на буфете и деньги в кассе оказались нетронутыми.

Стены до метровой высоты выкрашены коричневой, а выше—салатного цвета краской. Повсюду развешаны календари, издаваемые фирмами-поставщиками.

Выходит, «маленький Альберт» не был кореным парижанином; вернее, подобно большинству жителей Парижа он сохранил некоторые провинциальные замашки. Кафе он явно обставил на свой вкус: оно ничем не отличалось от любого деревенского.

Спальные комнаты на втором этаже были в таком же стиле. Засунув руки в карманы, Мегрэ осмотрел весь дом. Люка с улыбкой наблюдал за комиссаром. Сняв пальто и шляпу, тот держался совсем как владелец здешнего заведения. За какие-то полчаса Мегрэ вполне тут освоился. Время от времени он подходил к стойке и вставал в позу кабатчика.

— Ясно одно: Нины здесь нет.

В поисках жены «маленького Альберта» вдвоем обшарили здание с чердака до подвала, обыскали двор и небольшой садик, где валялись старые ящики и пустые бутылки.

— Что на это скажешь, Люка?

— Не знаю, шеф.

В кафе было всего восемь столиков: четыре возле одной стены, два—возле другой и еще два посередине, около самого очага. На один из них детективы обратили особое внимание: опилки возле ножек стула были аккуратно замечены. Уж не затем ли, чтоб скрыть следы крови?

Но кто убрал остатки трапезы жертвы, вымыл тарелки и стаканы?

— Может, они еще раз наведывались?— предположил Люка.

Во всяком случае, налицо была одна любопытная деталь. Все в доме было опрятно, но на стойке стояла небуранная раскупоренная бутылка. Мегрэ постарался не прикоснуться к ней хотя бы случайно. В бутылке был коньяк. Похоже на то, что лицо или лица, которые пили его, обошлись без стаканов, отхлебывая прямо из горлышка.

Неизвестные побывали и наверху. Обыскали все ящики комодов, затем задвинули их, разворошив белье и остальное содержимое.

Самое странное: из двух рамок, висевших на стене, были вынуты фотографии.

Незнакомцам, видно, нужен был вовсе не портрет маленького Альберта, поскольку он стоял на комодке—округлое веселое лицо, на лоб ниспадает прядь волос. Что-то в нем действительно напоминало клоуна, что подметил и владелец «Подвалов Божоле».

Подъехало такси. Послышались шаги. Мегрэ отодвинул засов.

— Входи,— сказал он, обращаясь к Мерсу, который нес довольно увесистый чемодан.— Поужинал? Нет? Рюмку аперитива?

Вечер и ночь, которые они здесь провели, были совершенно необычными. Время от времени Мегрэ наблюдал за Мерсом, который был занят трудоемкой и кропотливой работой, повсюду отыскивая едва заметные отпечатки пальцев—сначала в кафе, потом на кухне, в спальне, в каждом помещении.

— Тот, кто первым взял эту бутылку, был в перчатках,— с уверенностью заявил эксперт.

Мерс также взял образцы опилок с пола около стола, находившегося у очага. А в мусорном ведре Мегрэ обнаружил остатки соленой трески.

Еще несколько часов назад комиссару не было известно имя мертвеца, а облик его был неясен. Теперь же в распоряжении у них была не только фотография убитого. Комиссар жил у него в доме, среди его обстановки, рассматривал его одежду, прикасался к его личным вещам.

Не без некоторого удовлетворения, едва они вошли, комиссар указал Люка на пиджак, висевший на вешалке в спальне,— он был из той же ткани, что и брюки убитого.

Выходит, он, Мегрэ, оказался прав: Альберт пришел домой и по обыкновению переоделся.

— Мерс, дружок, как ты думаешь, когда сюда приходили последний раз?

— Думается, кто-то побывал тут сегодня,— ответил молодой человек, изучив следы коньяка на стойке возле распечатанной бутылки.

Весьма возможно. Дом был открыт, и войти мог любой. Только прохожие этого не знали. Когда люди видят закрытые ставни, им редко приходит в голову повернуть ручку двери, чтобы убедиться, закрыта ли она.

— Они что-то искали, да?

— Я тоже так считаю.

Видно, какой-то небольшой предмет, скорее всего какую-то бумагу, поскольку открыли даже коробочку из-под серег.

Ужин у Мерса и Мегрэ получился довольно странным. Мегрэ изображал кельнера. В кладовке он нашел колбасу, несколько банок сардин и голландский сыр. Спустившись в подвал, нацедил боценок вина—густого, с синеватым отливом. Тут же стояли закупоренные бутылки, но он их не тронул.

— Вы остаетесь, шеф?

— Ну, конечно. Не думаю, что кто-нибудь зайдет сюда вечером, но домой неохота ехать.

— Хотите, я останусь с вами?

— Не надо, спасибо, Мерс. Лучше отправляйся сразу к себе и сделай анализы.

Мерс ничего не упустил из виду, даже клочок женских волос в гребне на туалетном столике исследовал. Снаружи в кафе проникало немного звуков. Прохожие были немногочисленны. Время от времени, особенно после полуночи, слышался грохот грузовика, направлявшегося к Центральному рынку.

Мегрэ позвонил жене.

— Ты вполне уверен, что не простудился снова?

— Не беспокойся. Я затопил очаг. Скоро сварю себе грог.

— Тебе не выпастся.

— Выплюсь. У меня есть выбор—кровать, шезлонг.

— А простыни чистые?

— В комодке на площадке есть чистые.

Поначалу он хотел постлать свежее белье и лечь в кровать, но, подумав, решил устроиться в шезлонге.

Мерс ушел около часа ночи. Комиссар подкинул дров, налил себе крепкого грогу, удостоверился, что все в порядке, и, заперев дверь, грузным шагом идущего почивать человека поднялся по винтовой лестнице наверх.

В гардеробной отыскал домашний халат из голубой фланели с шелковыми отворотами, но тот оказался слишком короток и узок. Выяснилось, что и шлепанцы возле кровати ему также не по ноге.

Оставшись в одних носках, Мегрэ завернулся в одеяло и, положив под голову подушку, устроился в шезлонге. Ставней на втором этаже не было. Свет газового рожка, проникавший с улицы через узорчатые гардины, вычерчивал на стене замысловатые арабески.

Попыхивая трубкой, Мегрэ из-под полузакрытых век наблюдал за их игрой. Он понемногу привыкал к обстановке. Дом он примерял, как примеряют одежду, и уже привыкал к его запаху—кисло-сладкому запаху, напоминавшему ему жизнь в деревне.

Почему же исчезли фотографии Нины? Почему исчезла она сама, бросив дом и даже не взяв в кассе деньги? Правда, там было не больше сотни франков. Возможно, маленький Альберт хранил

свои сбережения в другом месте и кто-то забрал их вместе с бумагами.

Тщательный этот обыск злоумышленники производили аккуратно, не нанося ущерба. Одежду осмотрели, но с вешалок не сняли. Фотографии вынуты, а рамки снова повешены на крючки.

Мегрэ уснул. Услышав стук в ставни, он готов был поклясться, что едва успел сомкнуть глаза. Между тем пробило уже семь утра. Над Сеной светило солнце, гудели буксирь, таща за собой баржи.

Не зашнуровав туфли, спустился вниз—лохматый, в рубашке с расстегнутым воротом, мятом пиджаке.

Пришел Шеврье с миловидной молодой женщиной в темно-синем костюме, на взбитых волосах—красная шляпка.

— Вот и мы, господин комиссар.

В полицейском управлении Шеврье работал всего три-четыре года. Вопреки своей фамилии он больше походил на овцу, чем на козла,—так округлы и мягки были черты его лица и фигуры. Спутница дергала его за рукав. Спихватившись, он произнес:

— Прошу прощения! Господин комиссар, разрешите представить мою жену.

— Вы не беспокойтесь!—храбро заявила мадам Шеврье.—Работу я знаю. Моя мама была хозяйкой деревенского трактира. Бывало, взяв в помощницы пару женщин, мы с ней умудрялись приготовить свадебный обед на полсотни гостей, а то и больше.

Подойдя к кофеварке, она обратилась к мужу: — Дай мне спички.

Вспыхнуло пламя газа, и спустя несколько минут весь дом наполнился ароматом кофе.

Шеврье догадался облачиться в черные брюки и белую сорочку, одевшись для роли, которую ему предстояло сыграть. Встав за стойку, он начал передвигать все с места на место.

— Открывать?

— Конечно. Пора, наверно.

— Кто будет делать покупки?—осведомилась мадам Шеврье.

— Выберите время, возьмите такси и съездите в ближайшую лавку.

— Телячье фрикандо со щавелем вас устроит? Молодая женщина захватила с собой даже белый фартук. Она была весела и жизнерадостна. Все это походило на игру или пикник.

— Можете открыть ставни,—заявил комиссар.— Если клиенты будут задавать вопросы, скажите, что подменяете хозяев.

Поднявшись в спальню, Мегрэ отыскал бритву, крем для бритья и кисточку. Почему бы и нет, в конце-то концов? Маленький Альберт был, похоже, чистоплотен и здоров.

Неспешно закончив туалет, спустился вниз. Мадам Шеврье уже отправилась за покупками. Двое клиентов—это были речники—пили у стойки кофе с коньяком. Кто владелец заведения, их ничуть не интересовало. Возможно, это были лишь случайные посетители. Они толковали о каком-то шлюзе, который накануне едва не разворотило буксиром.

— Что вам налить, шеф?

Мегрэ сам позаботился о себе. Ведь ему впервые пришлось стоять за стойкой и наливать себе ром из бутылки. Внезапно он фыркнул.

— Я подумал о Комелио,—объяснил он.

Мегрэ попытался представить себе такую картину: в кафе «Маленький Альберт» входит судебный следователь и обнаруживает за стойкой комиссара и с ним одного из его сыщиков.

И все-таки это единственный способ что-то узнать. Увидев, что бар открыт, как обычно, те, кто убил владельца, будут наверняка озадачены. И Нина тоже, если только она еще жива.

Часов в девять, держа в руках продуктовую сумку, мимо кафе несколько раз прошла старуха прорицательница. Она даже прижалась лицом к оконному стеклу. Под конец она удалилась, что-то бормоча себе под нос.

Позвонила мадам Мегрэ, справляясь о муже.

— Тебе надо что-нибудь привезти? Например, зубную щетку?

— Нет, спасибо. Я уже послал за щеткой.

— Звонил Комелио.

— Надеюсь, ты не сообщила ему номер телефона?

— Нет. Только сказала, что тебя нет дома со вчерашнего дня.

Вышла из такси мадам Шеврье, неся корзины с овощами и какими-то кулками. Когда Мегрэ назвал ее «мадам», она запротестовала:

— Зовите меня Ирмой. Тогда и посетители будут меня так звать, вот увидите. Ты ведь не против, Эмиль?

Перевел с французского Виктор КУЗНЕЦОВ.

Продолжение следует.

¹ Маленький Альберт (лат.).

В Париже было 2 часа ночи. Я отвезил своего московского товарища-журналиста в гостиницу. Полицейский фургон и группу CRS*, дежуривших у очередного перекрестка, мы заметили издалека. Я попросил моего соседа проверить, пристегнут ли у него ремень, инстинктивно взглянул на спидометр, посмотрел, включены ли фары. Чувство не обмануло: когда наша машина приблизилась к перекрестку, от патрульной группы отделился полицейский и помахал фонариком, показывая, что надо остановиться. Проверка документов прошла вежливо, но наше благодушное настроение все же исчезло. Пока взявший мои бумаги полицейский проверял их в оперативной машине, мы, в свою очередь, наблюдали за теми, кто не спускал с нас глаз. Автоматические карабины наперевес, темно-синяя форма, пилотки, заправленные в тяжелые черные ботинки — словом, их вид отбивал всякую охоту шутить... Вскоре полицейский вернулся, отдал назад права, техталон, страховое свидетельство на машину, козырнул и разрешил продолжать путь. Напоследок я спросил его, почему остановили именно мою машину.

— Чисто случайно, мы делаем это выборочно.

— Зачем?

— Мсье, вы, конечно, знаете о взрывах в Париже. Наша задача — бороться против терроризма, — ответил он и — уже не как обычному ночному путнику, а представителю прессы, тем более советской, — пояснил, — чтобы граждане могли спать спокойно.

Эта фраза прозвучала так, словно ее произнес телевизионный диктор. Я миглом вспомнил, что в устах правых французских политиков эти же слова приобрели в последнее время значение политического лозунга.

Вообще вопрос о равновесии между «свободой личности» и «порядком в государстве» — вопрос философский и давний. Человек одновременно ощущает потребность в личной свободе и необходимость порядка в обществе, в государстве. Крайние точки этой антитезы: с одной стороны — фашизм, с другой — анархия. Все дело в том, чтобы соблюсти такое соотношение между этими тенденциями, которое и обеспечивало бы оптимальное развитие общества. Разные политические партии опираются на эти устремления в разной степени.

Как и полагается правым, они шли к власти, обвиняя прежнее правительство в «мягкости» и «примиренчестве», которые, по их мнению, привели к росту преступности в стране.

Победив на выборах, завоевав большинство в палате депутатов и сформировав свой кабинет министров, французские правые энергично взялись за усиление роли полиции в повседневной жизни Франции. Тем более что серия недавних террористических актов давала им основания «закручивать гайки». Они не только боролись против терроризма, но и использовали его.

На улицах Парижа, в толчее вокзалов, в аэропортах, на крупных пересадочных станциях в метро появились грозные патрули. Для того чтобы войти в такие учреждения, как префектура полиции — а там оформляют массу необходимых для жизни во Франции справок и бумаг — или Дворец юстиции, надо выдерживать настоящий обыск. Охранники в форме просят показывать содержимое сумок, пакетов, портфелей при входе в почты, банки, магазины...

* «Республиканские отряды безопасности» — специальные подразделения французской полиции, подчиняющиеся министерству внутренних дел.

Обычным делом стали регулярные проверки документов. По настоянию правительства Жака Ширака был принят закон, расширяющий полномочия полиции в этой области. Задержанному без документов неизбежно грозит теперь дознание в полицейском комиссариате. Для французов с их обостренным вниманием к личной свободе, любовью к слову «демократия» это был психологический удар. Тем более что полиция сдержанности не

Стэн — городок бедный, даже по сравнению со своими соседями — другими спутниками Парижа. Из города постепенно выводятся предприятия, чтобы подорвать социальную базу коммунистов, возглавляющих муниципалитет. Уровень безработицы значительно выше среднего. Отношения с полицией обострены до предела. Центр притяжения для молодежи Стэна — большой торговый центр «Евромарше». Сюда приходят под-

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПОСЛЕ МЕГРЭ

проявляла. Рамки дозволенного стали все чаще нарушаться. В первую очередь ужесточение порядков коснулось двух категорий французов — иммигрантов и молодежи.

Недавно объявлен приговор полицейскому, который под предлогом обыска заставил раздеваться 16-летнюю африканку, унижал ее. В другой раз во время проверки документов он же отнял у иммигранта 10 000 франков. Полицейского осудили на 8 месяцев лишения свободы условно.

Через несколько дней после своей победы на выборах Ширак заявил: «Полиция может быть уверена в решимости правительства оправдать ее действия, если произойдет несчастный случай». В таком же духе — только еще чаще — высказывались и руководители министерства внутренних дел. Из-за чего некоторые полицейские решили, что им развязали руки, да и общественный климат в стране поправел так, что не располагал к церемониям.

...В небольшом городе Антони под Парижем в квартиру семьи Кантэ днем ворвался полицейский вместе с судебным исполнителем, чтобы оценить имущество. В банке «Креди лионэ» за Кантэ числился небольшой долг (как выяснилось потом, ошибочно). Дома находился 15-летний Андре. Он попытался было объяснить, что родителей нет дома. Но не тут-то было. Разозлившись, полицейский высадил дверь и ударил парня в живот там, что тому пришлось потом обратиться к врачу. Через несколько дней после этого случая я съездил в Антони, побывал дома у семьи Кантэ. Отец Андре работает шофером на грузовике, мать — секретарь в мэрии. Люди от политики далекое, против полиции никогда ничего не имели.

Теперь они ее проклинали.

Отношения с «блюстителем порядка» в принципе зависят от квартала, в котором ты живешь, от марки машины, на которой едешь. В рабочих, иммигрантских микрорайонах, застроенных муниципальными домами, активизация полиции лишь обострила давние социальные язвы. Знакомый репортер, освещающий уголовную хронику в одной из столичных газет, посоветовал мне съездить в пригород Парижа — Стэн. Я поехал. В первом же кафе мне рассказали, что недавно там было совершено нападение на бензозаправочную станцию. Схватили первых попавшихся под руку молодых ребят. Только спустя месяц полицию пришлось признать, что они невиновны.

В Стэне я познакомился с одним из работников муниципалитета, который отвечает за работу с молодежью. Мы с ним походили по городу, он показал мне все «горячие точки». Впечатление удручающее.

растут как на охоту — красть. Именно поэтому здесь так велико число облав. Ради профилактики полицейские любят также оцеплять тот или иной микрорайон и просто прочесывать его в поисках подозрительных лиц. И с той и с другой стороны ненависти предостаточно. Мэрия тоже оказывается между двух огней. Жители города требуют, чтобы на улицах было спокойно, но практика показывает, что насилие — не метод покончить с тем, что накапливалось годами. Скорее — наоборот.

Параллельно с этим во французской полиции растут в последнее время ультраправые настроения. Также не без связи с меняющейся атмосферой во Франции. Об этом мне рассказал Антуан — один из руководителей крупного профсоюза «стражей порядка». Учитывая свое служебное положение, он просил не называть его фамилию и настоящее имя. Антуан, крепкий, атлетического телосложения, чем-то напоминающий бывшего боксера-тяжеловеса. Он когда-то начинал рядовым постовым (Антуан вспоминает, как в 60-х годах охранял советское посольство). Полицейскую службу он знает хорошо, искренне переживает за честь мундира. «Ведь как бывает — полиция много, народ ворчит: шагу без «фликов»* ступить нельзя. Что-то случается — все в один голос кричат: «Куда смотрит полиция!» По оценке Антуана, сегодня 80 процентов полицейских — люди правых взглядов. За левых — набравшую в последнее время силу ультраправую партию Франции — голосуют от 15 до 30 процентов блюстителей закона. А в специальном «летучем» отряде полицейских-мотоциклов, на совести которых убийство студента университета «Париж-Дофин» Малика Уссекина, вообще много откровенных фашистов. С тревогой рассказывает Антуан о том, что произошло недавно на заводе «Сауэр» под Парижем, производящем гидравлическое оборудование. Около двух десятков частных охранников, нанятых дирекцией предприятия, вооружившись металлическими прутьями, битами для игры в бейсбол, палками, держа на поводках немецких овчарок, попытались ночью эвакуировать с завода забастовщиков. Местное отделение ВКТ (крупнейший профсоюз Франции) выставило свой контрольный отряд. Для предотвращения кровопролития была вызвана поли-

ция. Каково же было удивление «стражей порядка», когда среди «частных командос» они увидели своих коллег. И не просто рядовых, но даже одного из шефов полиции города Курнёв.

— Полицейские не имеют никакого права заниматься такой «ночной» работой. В первую очередь потому, что они государственные служащие и подчиняются только государственным органам. Уж не говоря о моральной стороне дела, — говорит Антуан. — Они соглашались на эту грязную работу либо из-за денег, либо вследствие политических взглядов.

Кстати, недавно газета «Либерасьон» написала о том, что существует целая сеть таких полицейских с «двойным дном». Днем охраняют общественный порядок, выполняют прямые служебные обязанности, а ночью работают как вышибалы на службе патронов, «левачат». Свою собственную классовую позицию они, разумеется, не скрывают.

Северный пригород Парижа — Пантэн. Квартал «Катр шемэн» — «четыре дороги». Бар, каких во Франции десятки тысяч, — традиционный навес темно-бордового цвета, на нем реклама пива «Кроненбург», длинная цинковая стойка внутри, посетители, привыкшие друг к другу. 5 декабря прошлого года в баре между подвыпившими завсегдатаями вспыхнула драка. За одним из столиков кафе в тот момент сидел 19-летний Абдель Бенья. Он поднялся, чтобы разнять поссорившихся. Все трое вышли из бистро, продолжив выяснение отношений на улице. Все бы, возможно, обошлось, если бы из бара за ними не вышел четвертый посетитель — Патрик Савре, инспектор полиции из комиссариата 8-го округа Парижа. В тот вечер Савре был свободен от службы, и пантэнский бар не первый, куда он зашел, чтобы провести время. «Полиция!» — крикнул Савре и, достав крупнокалиберный пистолет, в упор выстрелил в алжирца. Пуля попала в сердце. Абдель Бенья скончался на месте...

Об убийстве в заурядном баре в Пантэне с не очень-то соответствующим действительности названием «Все хорошо» объявили не сразу. Если бы не расторопность одного из корреспондентов агентства Франс пресс, выпустившего в печать информацию о случившемся, происшествие могли бы вообще замаять...

Полицейского инспектора, ни за что ни про что расстрелявшего невинного человека, попытались выгородить. Согласно распоряжению министра внутренних дел его временно отстранили от работы, а затем он вернулся на службу, как будто ничего серьезного вообще не произошло. И это при том, что баллистическая экспертиза, свидетельские показания, воссоздание обстоятельств того вечера — все доказывало прямую вину полицейского. Однако наказывать его никто не собирался, с разбирательством тянули, дело хотели побыстрее закрыть. Но не смогли этого сделать потому, что не отступила семья погибшего. Ее поддерживали соседи, жители близлежащих кварталов, депутаты-коммунисты от двух расположенных рядом городов — Курнёв и Пантэн. После 7 месяцев борьбы они добились того, что Савре был все-таки арестован.

Во время демонстрации, которая прошла в Пантэне сразу после этой трагедии, я увидел плакат: «Стреляйте, вас оправдают!» И после смерти Малика Уссекина на манифестациях его сверстников мелькали прикольные к одежде бело-красные бумажные мишени, какие используют в тире. Это выглядело как предупреждение: никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой «рефлекса ковбоя», развившегося с некоторых пор у французских полицейских.

* «Флик» — полицейский (франц. разг.).

Марк ТАЙМАНОВ,
международный гроссмейстер,
шахматный обозреватель
«Огонька»

55:45

В ПОЛЬЗУ КАСПАРОВА?

Признаться, каждый раз, когда наступает срок нового раунда беспрецедентного соперничества Гарри Каспарова и Анатолия Карпова, перед экспертами и обозревателями встают нелегкие

проблемы актуального анализа этих исторических событий, проблемы тем более трудные, что о чемпионе мира и его партнере сказано, кажется, уже все и в общественном мнении они обрели устоявшийся «имидж», который дополнить, а тем более опровергнуть очень сложно. Между тем три года непрерывного многопланового соперничества, острой творческой полемике и взаимообогащающего опыта, как шахматного, так и жизненного, не могли пройти бесследно для обоих партнеров и не отразиться на свойствах их характеров и эволюции стилей. Но мало того, что в полевом единоборстве они обрели драгоценные свойства творческих универсалов, их усилиями заметно эволюционировали и сами шахматы. Игра в новом понимании стала заметно динамичнее, напряженнее, жестче. И здесь произошло неожиданное — уровень, на который подняли шахматную борьбу чемпионы, оказался пока недостижимым для других гроссмейстеров. Элита размежевалась, и два лидера заняли исключительное место в таблице о рангах. Беспристрастная математическая система коэффициентов американского профессора Эло сухими цифрами свидетельствует о возникшем разрыве: Г. Каспаров — 2740, А. Карпов — 2700, а затем пропасть в 65 (!) очков, и уже целая группа гроссмейстеров теснится в рамках между рейтингами в 2635 и 2625. Такой иерархической диспропорции не знала история шахмат! Словно Г. Каспаров и А. Карпов вошли для творческих дискуссий на Олимп, а коллеги остались просто на грешной земле, и не ясно, как и когда теперь пересекутся их пути... Как подметил американский журнал «Роллинг Стоун», при такой ситуации «Каспаров с Карповым могут оказаться самой неразлучной парой до конца нынешнего тысячелетия».

И вот новое для них испытание. 10 октября в Севилье между Каспаровым и Карповым начнется еще один — уже четвертый по счету (и всего лишь за три года!) матч на первенство мира. Актуальная формула «интенсификации» найдет свое преломление и в шахматной жизни: общепринятый в прошлом ритм — 24 партии в трехлетнем цикле — будет перекрыт неиссякаемыми полемистами в Испании пятикратно!

Никогда еще в истории не сражались чемпионы с такими невероятными перегрузками. А ведь еще М. Ботвинник говорил, что «каждый матч на первенство мира стоит года жизни»... А предстоящий поединок и вовсе особый. Ему суждено словно подвести итоги всем предыдущим сражениям. До сих пор Каспаров с Карповым играли с перерывами всего в несколько месяцев, и каждый раз возможность близкого реванша служила им подспудным утешительным аргументом. Теперь же, когда предстоит разлука минимум на три года, от-

кладывать на такой срок выяснение отношений уже не только не благо-разумно, но и рискованно. А потому можно ожидать наиболее бескомпромиссного и темпераментного единоборства из всех уже пережитых. У каждого из соперников свой резон вложить в него все силы.

Для Г. Каспарова выиграть этот матч — значит наконец-то завоевать заслуженную и долгожданную передышку для планомерной чемпионской деятельности, получить возможность стряхнуть с себя иго всепосягающей единой цели — непреходящей борьбе с А. Карповым.

Можно себе представить, как жаждет темпераментный чемпион мира перспективы заиграть в крупных международных турнирах (чего за последние годы он был практически лишен), осуществить широкие замыслы по популяризации шахмат во всем мире да и просто свободно вздохнуть чемпионской грудью и на время позабыть об изнурительной необходимости постоянного самоутверждения.

Разумеется, А. Карпову тоже хочется закончить счеты с Г. Каспаровым, причем не на минорной ноте. Экс-чемпион мира по своему характеру не может смириться с раздражающей приставкой к титулу, которым он владел целое десятилетие. И как владетель! Ни один из его предшественников не имел такого списка побед: 32 крупных международных турнира принесли Карпову 27 первых мест; из сыгранных за этот период 379 партий он выиграл 162, проиграв всего 18 — меньше 2 партий в год! И если бы не Каспаров...

Нынешний матч для А. Карпова, пожалуй, самый важный — через три года ему будет уже под сорок, и разница в возрасте с главным (если не единственным!) соперником станет куда более чувствительной, чем сегодня. Так что девиз «Теперь или никогда» обретает для экс-чемпиона мира категоричную актуальность.

Разумеется, оба партнера сделали все от себя зависящее, чтобы вступить в решающую схватку «на пике формы». В полном объеме проведена подготовка, укомплектованы штабы (у Каспарова к испытанным секундантам А. Никитину и И. Дорфману добавились З. Азмайпарашвили и С. Долматов; у Карпова к выдержавшему все испытания на высшем уровне И. Зайцеву примкнули К. Лернер, М. Подгаец, Э. Убилава). Наступает время творческой реализации разработанных планов.

Прогнозы, как известно, занятие неблагодарное, а когда речь идет о поединке, бесспорно, сильнейших шахматистов современности, тем более. Да и единственный объективный критерий — результат ранее сыгранных партий — формально не дает поводов предпочесть чьи-либо шансы: счет 50½:49½ в пользу Каспарова свидетельствует о примерном равенстве сил. Но все же, анализируя мнение экспертов, можно сделать вывод, что фаворитом в предстоящем единоборстве хотя и в весьма осторожной форме, признается чемпион мира, на стороне которого динамика развития событий в трехлетнем соперничестве.

Как сказала о своих почтенных коллегих Майя Чибурданидзе, «многое будет зависеть от формы соперников, их подготовки, настроения. И все же в процентном выражении, на мой взгляд, небольшое преимущество у Каспарова — 55:45 — приблизительно так».

Что ж, к женской интуиции, тем более чемпионки мира, следует прислушаться...



НА КРЫЛЬЯХ ФАНТАЗИИ

Как и в электронной промышленности, в дизайне одежды существуют тайны, которые охраняются не менее усердно, чем в компьютерной технологии. И этому есть свое объяснение. Продвижение модной одежды на рынки сбыта нынче стало таким же бизнесом, как и продажа новейшей радио- и телеаппаратуры. Поэтому в мировой практике еще не было прецедента, когда бы модельеры двух стран делились замыслами и создавали коллекции новинок на паритетных началах. Такой эксперимент оказался возможным в условиях перестройки, происходящей ныне в нашей стране. Его инициаторами стали Союз дизайнеров СССР и американская компания «Оуэн и Бреслин». Двадцать лучших художников-модельеров (по десять от каждой страны) собрались в Тбилиси и, к великому огорчению радушных хозяев, начисто лишив их возможности в полной мере продемонстрировать высочайшее искусство гостеприимства, засели за эскизы.

Мы работали по шестнадцать часов в сутки, — сказал в беседе с корреспондентом «Огонька» один из руководителей компании, Томми Бреслин. — Это были запоминающиеся дни. Фантазия художников, не скованная рамками предвзятости, легко преодолела языковой барьер, дала великолепные плоды совместного творчества...

Восхищаться и впрямь было чем, когда из-под карандаша знаменитого американского модельера из Техаса Лесли Уилка являлся редкий по выразительности и простоте эскиз молодежного ансамбля, в который весьма существенную деталь внес работавший рядом выпускник Московского текстильного института Михаил Светлицкий. На практике это выглядело так. Лесли Уилк брал небольшой лист ватмана и еле заметными движениями делал несколько легких штрихов. Михаил тут же подключался к замыслу, так же легко и щедро делал несколько набросков, и... на свет рождалось откровение двух талантливых художников, восхищаться которыми предстоит миллионам молодых модниц двух стран.

С не меньшей симпатией отзывались о совместной работе с американцами и секретарь Союза дизайнеров СССР Ирина Андреева:

— Я испытывала истинное наслаждение, когда следила за совместной работой нашей знаменитой Татьяны Осмеркиной и молодой американской художницы Лии Саллен. Огромный опыт и изысканный вкус советского модельера хорошо дополнялись в этом творческом тандеме неординар-

ными и свежими впечатлениями американки. В результате были созданы десятки уникальных по своему решению и универсальности моделей молодежной одежды, которую, я уверена, с удовольствием будут носить в предстоящем году и в Соединенных Штатах Америки, и в нашей стране.

Ирина Андреева называет имена советских модельеров, принимавших активное участие в первой совместной советско-американской неделе дизайна одежды в Тбилиси. Помимо знакомых уже читателям Татьяны Осмеркиной и Михаила Светлицкого, в ней участвовали: Наталья Орская и Ирина Козлова, художники-модельеры по трикотажу Лариса Дыминская, Елена Румянцева и Любовь Павлова, художник-модельер по обуви Ирина Селицкая и два специалиста, работающих в области кожгалантереи, — Евгения Васильева и Мира Иванова. Вместе с американскими модельерами Лесли Уилком, Кристофером Феллоном, Питером Гарибальди, Филиппом Огбси, Холли Хестер и другими они за семь дней создали более двухсот эскизов, которые дадут жизнь без малого тысяче предметов туалета мужской и женской моды.

По возвращении в Москву энергичные и улыбчивые президенты компании Майкл Оуэн и Томми Бреслин при активной поддержке Союза дизайнеров СССР и содействии Советского комитета защиты мира, устроили в международном торговом центре яркое шоу под девизом «Дизайн — за мир», в котором пригласили участвовать лучших советских, американских и французских манекенщиц.

Я присутствовал на репетициях, которые проводил с манекенщицами Томми Бреслин (Майкл в это время в поте лица трудился над оформлением сцены). Небольшого роста,



подвижный, с хорошей актерской школой (Томми много лет работал на Бродвее, ставил мюзиклы и играл в них ведущие роли), он ныне целиком переключился на пропаганду дизайна одежды и вместе с Майклом ставит костюмированные шоу. У него немалый опыт работы со многими популярными манекенщицами, и это сразу бросается в глаза.

Более двухсот моделей мужской, женской и детской одежды показали в тот вечер американцы. Демократичная, удобная в носке и недорогая, она явно понравилась зрителям. Привлекли внимание специалистов и десять моделей из двухсот, которые были разработаны в Тбилиси. Остальные эскизы содержатся пока в тайне и будут запущены в производство в 1988

году. Американцы в этом уверены, а Минлегпром СССР пока размышляет...

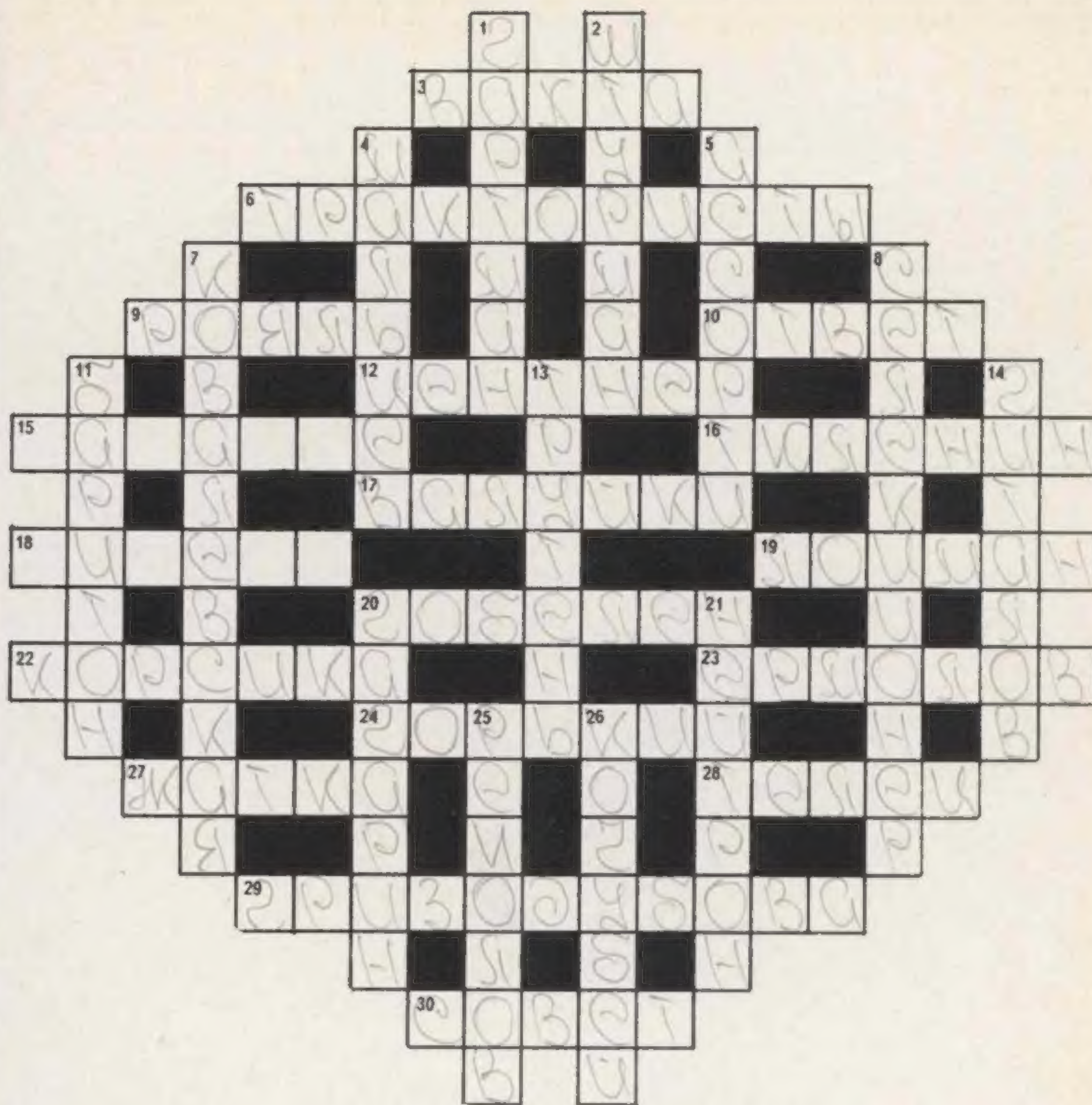
— Мы приложим все силы к тому, чтобы это начинание обрело крылья, — сказал в беседе с корреспондентом «Огонька» председатель Союза дизайнеров СССР Ю. Соловьев. — Но, к сожалению, не все зависит от нас.

Общественная дипломатия двух стран показала убедительный пример сотрудничества, которое в нынешнее сложное время трудно переоценить. Настала пора деловым людям из Минлегпрома СССР сказать свое слово.

Виталий ЗАСЕЕВ
Фото автора
и Бориса ОРЛОВА



КРОССВОРД



По горизонтали: 3. Самоотверженная работа в ознаменование выдающихся событий, целей. 6. Советский фильм, посвященный сельским механизаторам. 9. Клавишный музыкальный инструмент. 10. Результат решения математической задачи. 12. Мера веса. 15. Поручение. 16. Участник подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза. 17. Город в Белгородской области. 18. Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина. 19. Специалист по проводке судов. 20. Ковер-картина. 22. Французский остров в Средиземном море. 23. Русский полководец, участник Отечественной войны 1812 года. 24. Писатель, основоположник литературы социалистического реализма. 27. Уборочная сельскохозяйственная машина. 28. Зодиакальное созвездие. 29. Летчица, участница беспосадочного полета Москва — Дальний Восток, Герой Советского Союза. 30. Орган государственной власти в СССР.

По вертикали: 1. Архитектор XIX века, один из основоположников «русского стиля» в архитектуре. 2. Специалист по вождению самолетов, судов. 4. Полевод-новатор, дважды Герой Социалистического Труда. 5. Специальная смесь, набор конфет. 7. Математик, первая женщина — член-корреспондент Петербургской Академии наук. 8. Специалист по улучшению сортов растений, пород животных. 11. Мужской голос. 13. Журнал, издававшийся в XVIII веке Н. И. Новиковым. 14. Инициатор внедрения комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур, дважды Герой Социалистического Труда. 20. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. 21. Эlemen-

тарная частица. 25. Певчая птичка. 26. Роман А. А. Первенцева о гражданской войне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 40

По горизонтали: 7. Кандидат. 8. «Богатыри». 9. Конституция. 12. Очерк. 13. Яншин. 14. Рулет. 16. Косьва. 17. Ассоль. 18. Бажан. 19. Гломма. 20. Госсек. 22. Трико. 23. Фасад. 25. Тимур. 26. Луначарский. 29. «Школьник». 30. Кулакова.

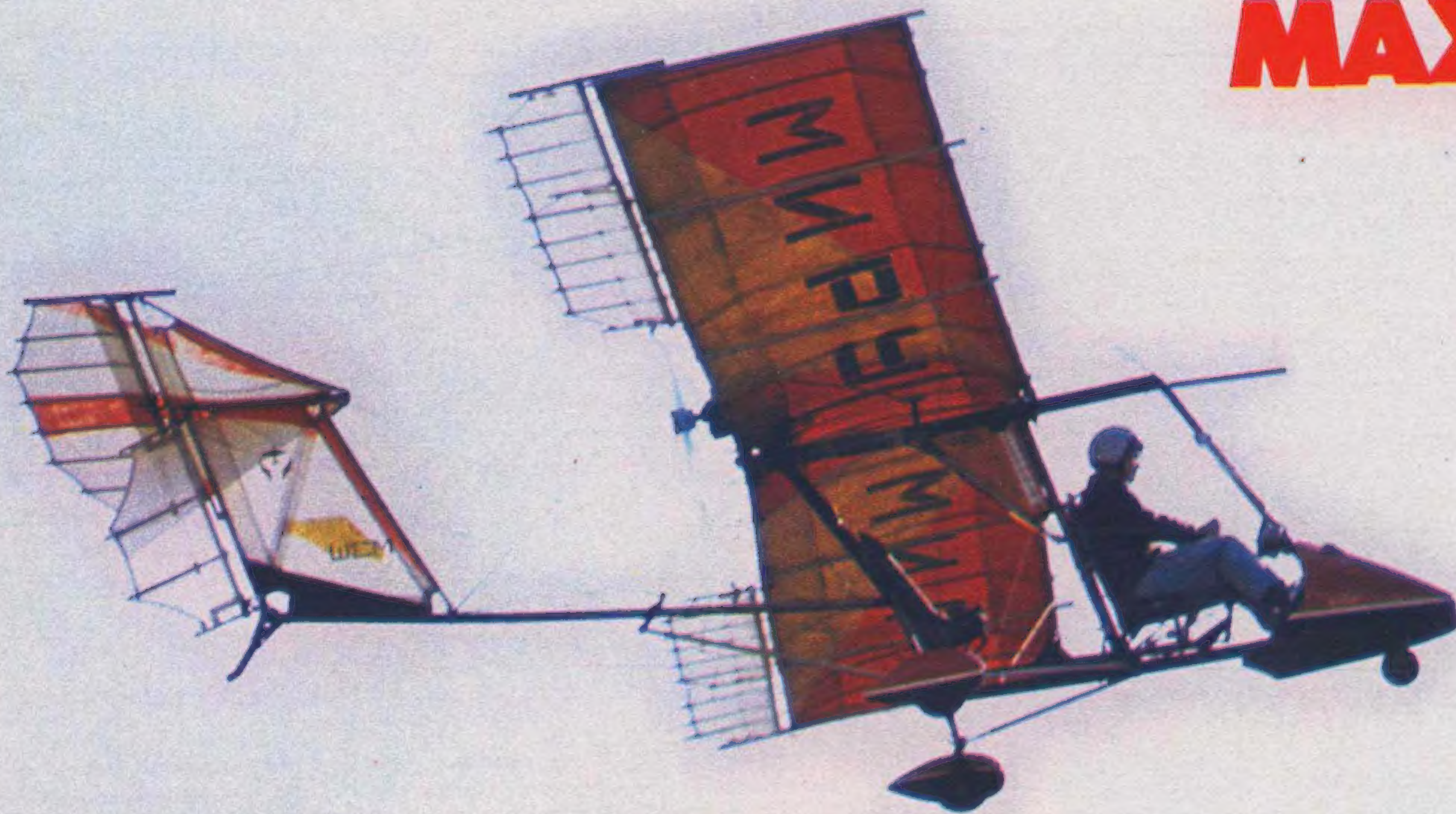
По вертикали: 1. Казачок. 2. Чирок. 3. Штат. 4. Сбыт. 5. «Мария». 6. Профиль. 9. Краснотал. 10. Изложница. 11. Янковский. 14. Рабат. 15. Танго. 19. Графика. 21. Кружево. 24. Дутье. 25. Тираж. 27. Чика. 28. Рюкю.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Василия ДУБОВА



«КАРЛСОН» И МАХОЛЕТЫ



Двенадцать дней шел праздник в Тушино. Определены победители в разных классах самолетов, жюри вручило награды и призы. Но главный итог — тысячи зрителей, побывавших на летном поле, подавляющее большинство из которых школьники и молодежь — резерв нашей авиации, летчики и конструкторы двухтысячного года, которым предстоит продолжить и приумножить славу краснозвездных крыльев. [См. в номере корреспонденцию «Карлсон» и махолеты.]



ISSN 0131—0097

Цена номера 40 коп.

Индекс 70663

ОГОНЁК